



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Отар ЧИЛАДЗЕ. Мартовский петух. Роман.
Продолжение. Перевод Элисбара Ана-
нишвили 3
- Вахтанг ХАРЧИЛАВА. Стихи. Перевод Ла-
рисы Фоменко 81
- Станислас-Андре СТИМАН. Убийца прожнва-
ет в 21-м номере. Роман. Продолжение.
Перевод с французского Алексея
Дроздовского и Екатерины
Дроздовской 84
- Мамука ДОЛИДЗЕ. Рассказы. Переводы Алек-
сандра Златкина, Эки Гвердци-
тели 142
- Геннадий СТОЙКОВ. Стихи 167

8

ВОЗВРАЩЕНИЕ

- Григол ЛОРДКИПАНИДЗЕ. Грузия. Тифлис
В Центральный Комитет Коммунистиче-
ской партии Грузии. Вводное слово Ка-
миллы Коринтэли 168

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Вадим БАЕВСКИЙ. «...Мне Грузии не обой-
ти» 215

РЕЦЕНЗИИ

- Гелий КОВАЛЕВИЧ. Герой нашего безвре-
мья 223

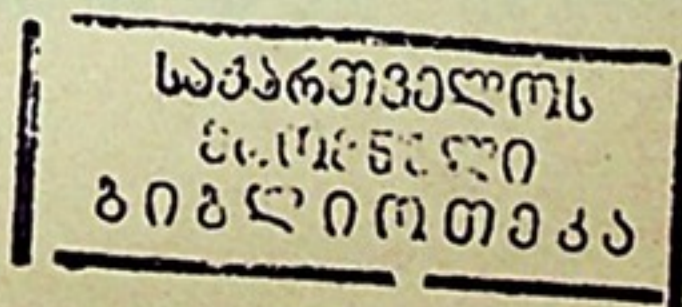


МАРТОВСКИЙ ПЕТУХ

РОМАН

138.28.28
А жена его разъярилась вконец, метала искры из глаз и кричала во весь голос: «В нашей стране сумасшедшие неприкосновенны!» — Волосы у нее растрепались, платье на ней перекошилось, она то и дело взмахивала черным линялым своим платком, словно пиратским флагом. — «Скажи пожалуйста, какие великие его труды! — еще пуще сердился будто бы лейтенант. — Можно подумать, он руки себе ободрал, перекапывая виноградник!» А Кола-полоумный звенел своими оковами и горько усмехался. И вправду, если они сами не понимали, то как он мог им объяснить, что искать отцовский гроб не легче, чем перекапывать виноградник, и что занятие это не имеет ничего общего с игрой, как это им представляется, а напротив, есть святейший и благороднейший долг — как для всех вообще, так и для каждого из них в отдельности. Но они этого не понимали или не хотели понять — увели его и заперли в милицейском подвале. А подвал был полон будто бы крысами, и теперь уже крысы не давали ему заснуть—стоило ему задремать, как всползали ему на лицо и тыкались в его ноздри острыми ледяными мордочками. — «Что мне делать, отец, не могу больше!»—хотел завопить Кола-полоумный, но в эту самую минуту услышал зов: кто-то будто бы трижды окликнул его: «Кола! Кола! Кола!» — Кола-полоумный будто бы опешил, оторопел от неожиданности и уставился в потолок подвала, потому что голос явно шел оттуда, сверху. Долго он всматривался так, оторопело, недвижимым

Продолжение. Начало см. в №№ 4, 5, 6, 7



взглядом в ледяной сумрак подвала, но наконец будто бы не выдержал и нерешительно спросил: «Кто ты?»

— Это я, твой отец, — отвечал будто бы голос.

— Отец? Ты, отец? — еще больше растерялся Кола-полоумный. — Где ты, покажись мне!

— Как же я могу тебе показаться, когда ты в преисподней, а я в небесах, — отозвался будто бы голос.

— Что ты в небесах делаешь? — удивился: будто бы Кола-полоумный.

— Когда человеку уже невозможно оставаться на земле, все равно, живому или мертвому, его место в небесах, — ответил будто бы голос. — И ты должен сюда явиться, потому что и тебе больше на земле невозможно оставаться. Сам видишь — что бы ты ни сделал, люди всякий твой поступок считают безумным, — так будто бы заключил он.

— Но как я к тебе явлюсь? У меня же нет крыльев, чтобы взлететь в небеса!

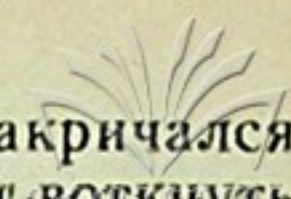
— Кто сказал, что у тебя их нет? — спросил будто бы голос.

Кола-полоумный будто бы машинально ощупал рукой свои лопатки — уж не выросли ли у него в самом деле на старости лет крылья — но не обнаружив у себя на спине ничего необычного, улыбнулся. — «И ты меня обманываешь!», — покачал он головой, обращаясь мысленно к отцу, но не обиделся; ибо отец на то и отец, что имеет право, если хочет, и обмануть сына, и высмеять, и отшлепать.

— Почему ты не вернешь мне? — спросил будто бы отец. — Взмахни руками и полетишь.

Кола-полоумный будто бы взмахнул руками и, Боже милостивый, будто бы в самом деле взлетел под потолок, но по неопытности не рассчитал расстояния и ударился головой о своды подвала. Оглушенный ударом, он довольно долго кружил под сводом в поисках зарешеченного окошка. Но на беду ему и на этот раз изменил глазомер, и он долго тщетно кружил и толкался в стены, пока не запутался крылом в решетке. И так, с крылом, застрявшим в решетке окна, бьющимся, как курица, его будто бы нашли наконец.

А уж как будто бы разгневался, прямо-таки рассвирепел лейтенант. — «Довольно с меня и того, что он сумасшедший, а тут еще и летать принялся, куда мне за ним гоняться, да и до того ли мне», — кричал



он будто бы своим помощникам. А когда накричался всласть, отвел душу, то приказал им будто бы воткнуть посреди площади (у всего города на виду, чтобы не появились у Колы-полоумного подражатели) железный кол и привязать к нему ржавую цепь оков Колы-полоумного — пусть теперь хлопает крыльями и пытается взлететь, пока не устанет. Так будто бы посадили Колу-полоумного на привязь посреди площади, всему городу на обозрение. Но что город — как только разнесся слух, что Кола-полоумный начал летать и его посадили на привязь, со всех сторон съехались будто бы люди в Сигнахи. Каждому хотелось посмотреть на летающего человека. А сигнахские насмешники торчали на площади с утра до вечера и не отставали от него до тех пор, пока он, бегая вокруг кола, не выбивался из сил. А самое главное, вся эта история будто бы продолжалась не день и не два, а долгие годы, и бедняга Кола-полоумный зиму и лето валялся под открытым небом, голый, как зверь (одежда на нем расползлась, а новую никто не приносил), растрепанный, с всклокоченной бородой, и кормился лишь тем, что бросали ему любопытные, пришедшие на него поглазеть. Жена приходила на площадь только для того, чтобы лишний раз его отругать, лишний раз позлорадствовать: «Вот до чего тебя довели поиски отцовского гроба; нынче не то что мертвый, живой родитель никому не нужен», — ехидно смеялась она, а он, Кола-полоумный, привязанный на подобие собаки и как собака печальный, сидел у своего колышка, уткнув лицо в колени, потому что никаким иным способом не мог спрятаться ни от жены, ни от всего остального мира. Но время будто бы шло и он будто бы привыкал к такой жизни. Вскоре уже не чувствовал стыда и самолюбие не терзало его — не терпеливо, как собака, набрасывался он на куски заплесневелого хлеба или подванивающего мяса, приносимые в дар ему любопытными, и торопливо поглощал их — хотя от этих приношений не так уж много ему доставалось, так как пока он, из уважения к посетителям, еще раз, в который раз уже, «взлетал» в воздух — а зрители, вытаращив глаза и разинув рты, глазели на его очередной «полет» — сигнахские шутники-насмешники отпихивали ногами большую часть даров (столько, сколько могли успеть) в сторону или назад, ровно на такое расстояние, чтобы он не мог на своей

привязи достать до них; и когда, мучимый голодом, но опять обманутый глазомером, Кола-полоумный тщетно пытался дотянуться до пищи, с отвратительным криком, заходясь от смеха, валились друг на друга. Но чем больше проходило времени, тем больше стекалось любопытных, желавших посмотреть на Колу-полоумного и, естественно, ему оставалось больше еды — во всяком случае смерть от голода ему не грозила. А любопытные все шли и шли — легионы любопытных спешили, стремились посмотреть на летающего человека, а увидев, что летающий человек привязан к колышку цепью, тем более утверждались в убеждении, что он действительно способен летать. — «А ну-ка, покажи нам, как ты летаешь!» — кричали будто бы со всех сторон осаждавшие Колу-полоумного зрители, и он сперва трусцой, как бы беря разгон, описывал круг-другой около колышка, а потом, усиленно размахивая и хлопая руками, подпрыгивал, словно в самом деле собирался взлететь, но свернутая на земле цепь со звоном и скрежетом, медленно, как старый ленивый пес, гналась за ним, постепенно расправлялась, растягивалась и, с силой рванув его вниз, сбрасывала его на землю. А люди будто бы смеялись, веселились, довольные потехой, и приставали к нему, чтобы он повторил свой полет, проделал еще раз все с самого начала, — и он «взлетал» еще раз и снова хлопался на землю, и еще раз с собачьей жадностью пожирал заплесневевший хлеб и зловонное мясо, вознаграждение за «полет». А по ночам, когда он оставался один, снова по-песьи взыв, обращая к небесам: «Не могу больше, сил нет терпеть, возьми меня наконец к себе на небо». Но с небес не доносилось никакого ответа. Видимо, / отец, наказав таким способом провинившегося сына, несколько им больше не интересовался. А сын между тем был по-песьи, поднимая лицо к небу, и звенел своей цепью (тут во сне у Колы-полоумного защекивало в горле и навернулись на глаза слезы, так ему стало жаль себя). Будто бы его вой и звон его ржавой цепи мешали людям спать и будто бы они, высыпав на балконы, брюзжали и ворчали: «Когда же наконец он сдохнет, проклятый!». Но к счастью, время шло и Кола-полоумный день ото дня старился, слабел, слеп, заживо гнил, как прежде убийца Ильи, и вскоре не мог уж не только летать, но даже пошевелиться, такую это причиняло

ему невыносимую боль; среди гама и гогота толпы любопытных он уже и сам не замечал, как порой терял сознание, а потом опять приходил в себя. Но зрителям и это доставляло развлечение, немощность летающего человека была по-своему также им интересна. А Кола-полоумный будто бы с нетерпением ждал желанной смерти и, печальный, потерянный, сжавшись, как собака, горевал теперь лишь о том, что окажется, как и его отец, беспризорным, заброшенным, неоплаканным мертвецом. «Неужели и после моей смерти не позаботится обо мне жена? — будто бы больно уязвляла его мысль. — В конце концов, я ведь муж ей, не свекор!» — Обуреваемый такими горькими мыслями, будто бы отдал он наконец Богу душу. В одно прекрасное утро собравшиеся для потехи люди разочарованно разошлись по домам, так как нашли летающего человека мертвым. Он валялся, свернувшись около своего колышка, нелепо растрепанный и взъерошенный, весь в синяках и ранах, жуткий и жалкий в одно и то же время. Впрочем, толпа разошлась не сразу — сперва решили, что он уснул, и попробовали разбудить беднягу — швыряли в него кусками хлеба и мяса, ругали его, честили на чем свет стоит, насмехались над ним, даже осыпали угрозами, в надежде, что он разозлится и тогда уж не поленится вскочить — но мертвого ничто не могло поставить на ноги. Но «зрителям», заранее настроившимся потешиться, погоготать, и в голову не приходило, что он умер, и, не сумев расшевелить его «дарами», они стали кидать в него камнями — но и камни оказались бессильны против смерти, не смогли вывести Колу-полоумного из вечного сна. В конце концов собравшиеся, убедившись, что он действительно мертв, оставили его в покое, сразу выбросили его из головы и вскоре на площади осталась лишь его жена — присев на землю поодаль, со сползшим на глаза платком, она тихо подвывала и время от времени причитала: «Вот до чего тебя довело, твое безумство!» А он валялся, скорчившись, в земле, смешанной с его собственной мочой, и с разлагающегося его тела будто бы кусками сходила плоть (представив себе это, Кола-полоумный со стонами и вздохами перевернулся в постели и, улегшись на другом боку, уже не увидел на площади свою вопленицу-жену). Так и остался будто бы Кола-полоумный совсем один, всеми брошенный во всем мире, потому что так свер-

шился над ним суд родителя — а сказать яснее — тот, кто разорит родительскую могилу, и сам не удостоится погребения, потому что родительская могила — это своеобразная, быть может необычайная сокровищница для потомков, поскольку сокровище в этом случае есть ни что иное, как покой на земле и вечная мирная обитель. Таким образом, земля получила, что ей причиталось, время излечило, что ему полагалось излечить — и однако (так не хотелось Коле-полоумному покидать царство сна) этим еще не исчерпались его приключения: теперь будто бы его скелет принялся летать, и любопытные снова будто бы сбежались, слетелись на площадь со всех сторон. В особенности будто бы в ветреную погоду собиралось особенно много народа, потому что ветер будто бы легко подхватывал скелет, поднимал его высоко в воздух, носил его со стуком и лязгом вокруг колышка и после долгого полета бросал с размаху оземь, отчего он понемногу расшатывался, разрушался, распадался и после каждого полета все меньше походил на скелет. Кончилось тем, что ветер будто бы теребил со скрежетом лишь одну застрявшую в железном кольце голенную кость.

— Вставай, покажи нам, где ты похоронил разбойника, — затряс в эту самую минуту лейтенант Колу-полоумного, схватив его за плечо, и тот, всполошенный, испуганный, вскинулся, сел в постели.

— Слышишь, Кола? — наклонился к нему лейтенант. — Имей в виду, отвезу тебя в Тбилиси, в лечебницу на Камо... Потом пеняй на себя.— Тон у лейтенанта был необычайно твердый и угрожающий, глаза у него глубоко провалились от бессонницы, небритый, он казался еще более худым. И он тоже, наверно, всему на свете предпочел бы сейчас хорошенько выспаться.

— Сейчас, сейчас, — засуетился Кола-полоумный, вскочил с постели и с проворством старого солдата сунул ноги в штаны.

— Куда вы ведете этого несчастного, он ведь сумасшедший... Разве можно его арестовывать? — разволновалась, войдя в комнату, его жена.

— Никто его и не арестовывает, хозяйка, успокойся. Покажет нам могилу и вернется, — сказал лейтенант.


— Правда, Кола? Ведь покажешь?—с детским нетер-

цением спрашивал он Колу-полоумного, сомневаясь в том, что добьется своего.

— Сейчас, сейчас, — бормотал Кола-полоумный, весь какой-то погасший, сломленный, не похожий на себя.

Через некоторое время он подал на вытянутых руках милицейским из вторично раскопанной могилы завернутое в брезент мертвое тело, а сам притулился в углублении и заплакал навзрыд. Плача, он собирал пальцами одной руки землю и ссыпал ее в подставленную горсть другой — можно было подумать, что он играет, развлекается какой-то вновь придуманной игрой. В подставленной, как чашка, горсти быстро вырастал бесцветный холмик рыхлой земли, потом обрушивался и рос снова. А наверху, над могилой, ожидавших его милиционеров пронизывал до костей студеной ветер, и минуты уже казались им веками. — «Вставай, Кола, вылезай, не стыдно тебе! Мы уходим», — нерешительно позвал его сверху лейтенант, но Кола-полоумный забыл обо всем на свете, и стыд был ему ни о чем, он сидел на дне вырытой собственными руками могилы и плакал — потому что снова терял с трудом найденного и с трудом устроенного «родителя», и терял надолго, если не навсегда. Еще немного — и впрямь лишь безумием покажется людям и его невыразимое счастье, и его бескорыстное желание добра, и надежда очиститься от греха, и бег под ветром с трупом на плече, и рытье могилы в крошечной тьме — все то, что он испытал совсем недавно, что потрясло его до глубины души и память о чем до сих пор пронизывает все его существо. Его недолгое счастье, его надежды, тщетные его старания послужить добру, его напрасные страхи и напрасные труды — все это, закатанное в брезент, уже вскинули себе на плечи милиционеры, все это уходило от него безвозвратно и, главное, не могло уже никогда вернуться в эту столь любовно вырытую им могилу. Вот отчего рыдал он так безнадежно, во весь голос, от всей души. Разгневанный на весь мир, он был полон жалости к самому себе, из одного глаза у него текли слезы гнева, а из другого — слезы сострадания. — «Пожалей и нас, Кола, мы ведь тоже люди!» — кричали ему сверху озябшие милиционеры, но он не мог иначе: слезы, копившиеся Бог знает сколько времени, наконец прорвали преграду и теперь ничто не могло остановить их, пока они не излились до

последней капли. — «Засыпьте меня землей, имейте сострадание, или вы не люди, или вы бесчувственные совсем?» — взывал он из ямы к милицейским и, в самом деле, чего стоила вся его жизнь, если ему нельзя было хотя бы и по обязанности сотворить хоть одно доброе дело. — «Ох, отец, отец, как же тяжелы напрасный труд и тщетные надежды», — причитал он из глубины открытой могилы. А наверху, над могилой, заочеченевшие милицейские с трупом на плечах растерянно глядели друг на друга. Помимо того, что они мерзли, главное, они не знали, что им делать, как поступить: приписать диковинное поведение Кола-полоумного его безумию и силком вытащить его из могилы, или, увидев в его плаче и отчаянии диковинное выражение доброты и человечности, подождать, несмотря на нестерпимый холод, пока он не изольет до конца свое горе. А ветер, казалось, до крайности раздраженный человеческим плачем, метался без толку во все стороны, с воем, свистом и ревом кидался на открытую могилу, и сквозь его завывания как бы совсем издалека, чуть ли не из бездонной глубины земли доносился этот гнетущий, хватающий за душу голос. Наконец лейтенант потерял терпение, присел на краю могилы, упершись коленями в кучу выкопанной земли, свесился чуть ли не всем телом в яму и огрубелым от волнения голосом гаркнул: «Ну как, силой нам, что ли, тебя вытаскивать?» Кола-полоумный вскочил как ужаленный — на мгновение явственно представилось ему, как он бился в решетке окошка милицейского подвала, смешно запутавшись в нем крылом. Засуетившись, он даже протянул снизу руку лейтенанту, чтобы тот помог вылезти наверх. Другой рукой он отирал залитое слезами лицо. — «Что это ты, Кола, хочешь, чтобы мы все простудились и слегли?» — подал ему голос Араминдара. Грдзело и Несва держали на плечах труп в брезенте, и поэтому первыми двинулись в путь. За ними шагал Араминдара, чтобы помочь товарищам в случае необходимости. Кола-полоумный, с перепачканным землей, влажным от слез лицом, всхлипывая, тронулся за ними — а лейтенант пропустил его вперед, сам же замыкал эту странную процессию. Он шел и думал: какая все-таки странная штука жизнь, и сколько разных, непохожих людей на свете. А Кола-полоумный вспомнил свое утреннее сновидение — как отец крикнул будто бы



ему с небес: «Взмахни руками и взлетишь сюда, ко мне». Вспомнилось ему, как он вдруг взмыл в воздух, как ударился головой о своды подвала... Но ведь все это могло случиться и наяву, если бы он в точности исполнил все, чему научил его отец во сне! Почему не мог он летать наяву, если летал в своих ночных грезах? Разве во сне он был другой — а не тот же Кола-полоумный, что и наяву? Вот только, что правда, то правда, в сновидении он был гораздо смелее, и долг, который он брал на себя, был гораздо больше. Но главным и решающим было все же, наверное, то, что он слушался отца и выполнял его указания, не рассуждая. И вот, не успел он додумать эту свою мысль до конца, как взмахнул руками, как крыльями, несколько раз подряд и так просто, совсем легко оторвался от земли... И так это ему показалось естественно, словно он провел всю свою жизнь, летая в поднебесье. Минуту назад он готов был заживо похоронить себя, оглушая всю округу плачем и причитаниями, а теперь, махая руками, парил с перехваченным дыханием в воображаемом небе, похожий на смешную, неуклюжую взъерошенную птицу. «Поди, спрашивай ума с неразумного!» — улыбнулся в душе лейтенант, шедший следом.

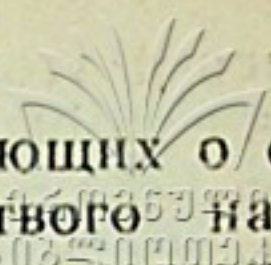
10

Доктор, возможно, уже приходил и успел уйти, а Нико ничего и не заметил: снова завладели им дрема, мысли, видения. Впрочем, нет, так не могло быть — бабушка или тетя растолкали бы его. Да и сам доктор не дал бы ему не заметить свой приход. — «Ну, как сегодня чувствует себя наш разбойник? Ох, извините, я хотел сказать, не разбойник, а разумник». Проспать такое событие, как посещение доктора, невозможно. Весь дом приходит в волнение: стулья скрипят, шелестят занавески, книги перелистываются сами собой — доктор дышит, как кузнечные мехи; но добр и мягкосердечен он необычайно — не меньше, чем дедушка. Нарочно! напускает на себя суровый вид, пугает больных, чтобы они не потеряли уважения к целителю, а главное, не вышли из повиновения. — «Если не будете слушаться врача, одни лекарства вам не помогут!» И разговаривает он интересно, своеобразно. И притом пых-

тит, хрипит — а впрочем, говорит и делает всегда одно и то же. Дыши. Не дыши. Дыши. Не дыши. А ну, попробуй, кашляни. Молодец. Настоящий Баши-Ачуки. Ну-ка, еще раз откроем рот. Шире. Еще шире. Бэээ. Бээ, говорю. Эх ты, глупыш, неужели козу передразнить не можешь? И однако, это «одно и то же» при каждом его посещении и выглядит по-новому, и звучит иначе — потому что ты уже не такой, каким был вчера. Не сам он, доктор, меняется (не дай Бог!), а тебя должно менять от раза к разу это его «одно и то же», тебя он должен вернуть к жизни самыми простыми способами; он должен представить перед тобой простейшую картину жизни — как изображенные в букваре жатву, виноградный сбор или зиму, — чтобы она снова стала для тебя притягательной и, если ты до сих пор не любил ее, то даже и полюбил бы отныне, чтобы тебе стало жалко с нею расстаться, иначе одни лекарства в самом деле тебе не помогут. И вот: он еще раз входит к тебе в комнату, пыхтя и отдуваясь. Это оттого, что ему пришлось по пути одолеть крутой подъем. Трудно ему подниматься в гору. Вот почему он всякий раз, войдя в комнату, говорит: «Врачу, исцелися сам. Силу уносит время, а само время, знаешь ли ты, сестрица, что его уносит? Бесплодные мысли и мечты. Человек рождается, чтобы бороться, воевать, ни на мгновение нельзя его останавливать, тотчас зарастет мхом его душа, он все время должен что-то тащить, волоочь, разрушать, строить. Лежа он недалеко уйдет. И мечтами не сможет добыть себе хлеб насущный. А к страху он должен привыкнуть. В наши дни страх не опасен, а вот воспаление легких — совсем другое дело». Войдя в комнату, доктор сразу опускается на расшатанный стул и, уперев руки в колени, всматривается в пол, словно уронил какую-то очень маленькую, едва заметную вещицу и ищет ее взглядом. Лицо у него оплывшее, серое. Возраст берет свое. И впрямь — пора уже врачу исцелять самого себя. Но понемногу дыхание у него становится ровней, краска возвращается на лицо, и он снова готов помогать другим, исцелять других. Но пока он только улыбается заразительной, ободряющей улыбкой. Этой улыбкой (поскольку говорить ему пока еще трудно) он как бы предварительно объявляет, что все будет хорошо. Именно это и хотят от него услышать — и он не заставляет ждать: пока к нему еще не вернулся дар

речи, пускает в ход красноречивую улыбку, улыбку
врача, целителя, очищенную, освященную слезами, те-
лесными страданиями и предсмертными муками, несо-
крушимую, как скала, выработанную за долгие века
улыбку, канонизированную, как и само это лицо, черты
учителя, наставника, и вот, наконец, закрепленную на
губах этого немощного, жалкого старика страстной ве-
рой и надеждой больных и недужных для их же обод-
рения, врачевания, возвращения к жизни. Отдышавшись,
доктор проворно вскакивает со стула, пыхтя и хрипя,
сбрасывает пиджак, накидывает его на своего скрипу-
чего «коня», как бы оберегая того потного на ветру
— от простуды, а сам, закатав рукава, все так же с
хрипом и пыхтеньем призывает на помощь бабушку:
— «Где ты, прислужница моя!» — А у бабушки все
заранее приготовлено: таз, теплая вода, мыло, полотенце.
На одной руке у нее висит полотенце, в другой она
держит широкогорлый кувшин и с улыбкой заглядыва-
ет в глаза доктору. Что ж, она согласна пойти к нему
в услужение. Разве это постыдно, служить врачу? На-
против, это большая честь. Дать врачу умыть руки —
все равно, что дать умыть руки Богу. Ведь, по правде
говоря, врач в своем роде тоже Бог: сколько на его по-
печении страждущих, таких, как мы, сколько недужных
надеется на него, ждет его прихода с нетерпением! И
доктор чувствует, что здесь ценят, уважают его, верят
ему и верят в него — и спокойно, старательно, со вку-
сом намыливает себе руки. И при этом с улыбкой, ве-
село допрашивает бабушку: как это было, как это мой
друг (то есть дедушка) отыскал тебя по обрывку твоей
вуали? Вспоминают лучшие времена, беседуют по-осо-
бенному, по-старинному. Дедушка, бывает, тоже рас-
сказывает эту историю — после обеда, опустошив кварту
вина, чтобы подразнить бабушку: «Это, говорит, был
не первый случай, она все так вот кружила около ме-
ня, пока наконец не прибрала к рукам. Бывало, пронес-
ется на лошади мимо моего дома, а потом промчится
обратно — пока, наконец, не вывела меня из себя и я
сам не погнался за нею». И непременно добавляет в
заключение: — «Ох, и упрямы женщины, если что за-
думают, так непременно поставят на своем». А бабушка
из себя выходит, дескать, все это вранье, кому ты был
нужен, я даже и вовсе не знала о твоем существовании.
Но так оно было или иначе, а любая сказка бледнеет


перед этой историей. Видимо, в прежние времена сама жизнь была сказочной. Молодая девушка могла носиться вскачь перед твоим домом по чем зря. А теперь стоит людям увидеть девушку на мотоцикле, как ~~кончено~~, ославят на весь свет: вот, мол, какая бесстыжая, что себе позволяет. А в старину верховая езда была в обычае и у мужчин, и у женщин. А красивое, наверно, было зрелище женщина на лошади — в длинном платье, в головном уборе с развевающейся за плечами вуалью. Для женщин имелось даже особое, иначе устроенное седло. Так вот, однажды, оказывается, бабушка Нико зацепилась концом вуали за ветку, торчавшую из двора дедушки но даже не придержала лошадь, а на полном скаку продолжала свой путь. Тогдашние женщины очень оберегали свои вуали, так как те были символом их женской чести и чистоты, а бабушка оставила кусочек тюля на ветке как знак то ли вызова, то ли призыва, то ли чего-то еще более значительного. И обрывок вуали до тех пор развевался и бился на ветке, пока дедушка его не заметил, не снял с сучка и не погнался за девушкой с оторванным веткой его сада кусочком тюля в руках. Гнался за нею, гнался и подъехал прямо к ее дому в Карданахи. Бабушкину взмыленную лошадь еще водил по двору какой-то парень (может, и сам дедушка Гуго). — «Все выдумал!» — отпирается бабушка, но глаза у нее блестят и искрятся так, как будто вернулись те давние времена, как будто она только что соскочила с седла, посмотрела, услышав лошадиное фырканье, на дорогу и увидела дедушку с обрывком ее вуали в руках. — «Туда, где ждет тебя судьба, ведет тебя твоя нога», — передразнивает дедушку доктор. — «Пусть на себя пеняет!» — смеется бабушка; Нико они словно вовсе не замечают, словно вообще не интересуется доктором, как он и что с ним — спокойно намыливает, трет руки одну о другую, как будто впервые за долгое время дорвался до мыла и воды, и заодно беседует с бабушкой. Ну, что бы там ни было, они лучше понимают друг друга, оба старые, оба помнят прежние времена, главное, есть у них общие детские воспоминания, а это уже значит, что они единомышленники, и не в каком-нибудь одном, хотя бы весьма важном, деле, а в самой жизни, во всем ее прошлом, настоящем и будущем. Да, есть им о чем и о ком вспомнить вместе — об общих знакомых,



об общих умерших, о пропавших и не подающих о себе вестей, об оставшихся, уцелевших. Мертвого надо помянуть, пропавшему — посочувствовать, а уцелевшего — похвалить за выдержку, за упорство. Спокойно намыливает руки и мирно беседует с бабушкой доктор. А Нико слушает их, затаив дыхание. Очень ему все интересно, но и немножко почему-то стыдно, словно он подглядывает в чужое окошко. Те времена были лучше, сестрица, для всех, и для твоего мужа тоже. Лучше? Да уж, наверно. Весь нынче извелся, бедняга. Задыхается в этом проклятом Цнори. Забыл, что такое чистая постель и горячая еда. Продал себя в кабалу ради нас. Что поделаешь, такова жизнь. Жизнь — это война, сестрица, если ты слабак, пропадешь. Придется другому уступить место. Не уступишь по своей воле — заставят силой. Дай Бог тебе здоровья, так хорошо нигде не дадут вымыть руки. Какие пустяки! Эх, если бы я чем-нибудь в самом деле могла... А он уже вытирает руки свежим хрустящим полотенцем, так же спокойно, так же неторопливо, со вкусом — как будто пришел не осмотреть больного, а показать больному, как надо мыть руки. После ухода доктора в доме воцаряется какая-то успокоительная, миротворная тишина. Ото всего пахнет чистотой — мылом, теплой водой, свежевывглаженным полотенцем и, хочешь — не хочешь, начинаешь и сам думать о лучших днях; впрочем, это вовсе не означает, что ты забыл о худших или не ждешь худшего. Напротив, сейчас ты еще больше готов, и даже настроен, встретить худшее. В конце концов, что бы оно ни было, как придет, так и уйдет. А один счастливый день, одна счастливая минута, если она хорошо запомнилась, поможет перенести целый век страданий. К тому же ты уже держишь в памяти столько хорошего, что запаса надолго хватит для войны против дурного; долго будешь беречь его и тратить с осторожностью — как сиротский хлеб, как порох разбойника, как свечу заключенного... И даже если с тобой больше ничего особенного не случится, того, что уже случилось, хватит на целую жизнь, потому что длительность человеческой жизни определяется, оказывается, не числом прожитых лет, а приобретенным запасом воспоминаний; и поэтому главное не то, пятнадцать лет тебе или сто пятнадцать, а то, сколько чего ты помнишь — и дурного, и хорошего. А значит, пятнадцатилетний юнец,

возможно, прожил больше, чем нукрианский Мафусаил. Ну так вот — надевай на себя, как рыцарские доспехи, свои воспоминания и, раз уж доктор велел не утомлять себя чтением, возвращайся, взгромоздясь на Росинанта своих мыслей, в прожитую жизнь, попутешествуй по ней. Что ты можешь увидеть лучшего? Чем ты можешь лучше развлечь себя? И близкие твои всячески будут тебе способствовать, буквально и дословно исполнят предписание доктора и не дадут тебе взглянуть на книгу даже с расстояния ружейного выстрела, и заикнуться о книге не позволят. Будут вкладывать тебе кусок в рот уже разжеванным и может быть даже привяжут к кровати, чтобы ты вообще не мог пошевелиться. Возможно, и снотворного подбавят тайно в «кошачий лимонад», которым потчует тебя тетя трижды в день со столовой ложки, перекашиваясь сама от отвращения. Впрочем, сонное зелье, наверно, и так примешано к этой гадости, поскольку сразу после приема ты валишься без сил на подушки, и хвостатая старуха-колдунья уволакивает тебя, взвалив на спину, в сказочное царство снов и видений. И тебе самому не хочется очнуться, прийти в себя, пробудиться от сна — ты рад бы всегда оставаться там, в волнах тревожимо-го голосами злобного, ожесточенного мира и все же сладостного сна. Никак не можешь вынырнуть из горько-сладкого моря и, для виду, небрежно, ищешь собственную сущность в своем существе, скорее вынужденно, чем по доброй воле, потому что ты сейчас не самоотверженный водолаз, задумавший во что бы то ни стало ограбить потопленный корабль, а осиротевший беззащитный ребенок, нет, вернее, единственный защитник и заступник разрушенной семьи, и должен испробовать все способы, чтобы вырвать у судьбы еще один день жизни. И ты поднимаешь со дна морского все, что попадет под руку — водоросли, губки, раковины, а порой и вовсе ничего, и когда, с шумом в ушах, с налитыми кровью глазами, ты выныриваешь, испуганно барахтаясь, из свинцовых волн сна и расправляешь затекшую руку, вода, смешанная с песком, стекает между твоих растопыренных пальцев. Ничего у тебя нет своего, собственного — одно лишь ожидание опасности, нет, неминуемой гибели, и это ожидание не ослабевает с течением времени, а напротив, день ото дня это становится сильнее и острее, хотя и война давно уже кон-

чилась, и отец давно уже прикован к постели. Но это гнетущее чувство ожидания родилось в тебе раньше, чем началась война, и раньше, чем отца увезли в больницу санитары. Этим леденящим кровь и бередящим душу ожиданием было пронизано, подавлено все вокруг. Взрослые разговаривали между собой тихо, чуть ли не шепотом, и старались по возможности бесшумно делать любое дело. Внезапно застыв на месте, недвижимые, как изваяния, они внимательно прислушивались и вглядывались всякий раз, как по улице проходил человек или проезжал экипаж, а то и редкая автомашина. А между тем вчера еще, благодаря двоюродным сестрам Нико, не было во всем Батуми другого такого шумного и веселого дома. Достаточно было хотя бы не смолкавшего весь день, стонавшего, причитавшего, рыдавшего, терзаемого шестью парами рук пианино. А теперь, внезапно всеми забытое и брошенное, оно плотно стиснуло свои черные уста и, словно тоже опасливо чего-то ожидая, робко жалось спиной к стене. И это общее, всеохватывающее, объединяющее одушевленные существа и неодушевленные предметы ожидание особенно трудно было выносить по ночам, так как утомленные целодневными молчанием и неподвижностью вещи ночью сами собой начинали издавать звуки, сами собой меняли места, и в насыщенной ожиданием тишине вдруг слышалось то хлопанье двери, то скрип стула, то надрывный стон какой-то ослабевшей, потерявшей терпение струны в черном мраке чрева пианино. А по утрам все что-то искали — зубную щетку или шпильку для волос, часы или перстень — и настойчиво утверждали, что вчера вечером положили потерянную вещь туда, где привыкли ее обычно оставлять. — «Ну, значит, она ходить научилась», — смеялась саркастически тетя. Само собой разумеется, и ты приобщался к этому ожиданию, чувствовал его, переживал, подчинялся его подавляющей, унижительной власти и уже не капризничал, когда мама, скрывая волнение под показным спокойствием, с рассеянным вниманием укладывала тебя в постель (ты словно чувствовал, что очень скоро и это все станет тебе желанным) и строго, раздраженно умоляла тебя, чтобы ты ни о чем больше не думал, закрыл глаза и как можно скорее заснул, потому что, оказывается, никому теперь было недосуг с тобою возиться. — «Смотри, чтобы мне

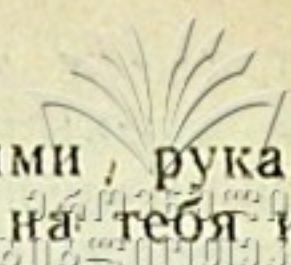


не пришлось больше к тебе заходить!» — нежно выговаривала она тебе перед тем, как погасить свет, и уходила в столовую, где взрослые, казалось, собирались только для того, чтобы своими бестолковыми, бессмысленными и нескончаемыми разговорами еще пуще раздражить твое и без того перевозбужденное любопытство. Разумеется, ты не мог понять, о чем они разговаривали, это было тебе еще недоступно, но ты чувствовал (почему-то порой мурашки ползли у тебя по коже), что они не просто развлекались беседой, что им было не до приятного времяпрепровождения — они о чем-то непрерывно спорили, никак не могли прийти к согласию по каким-то предметам, и никогда, наверно, и не смогли бы согласиться друг с другом, потому что все хотели одновременно, не дожидаясь своей очереди, высказать свою мысль — не говорили, а не давали говорить друг другу... Так значит, и ты такого мнения, да?.. Нет, я этого не говорил, я сказал, что так говорили... Да, но ведь существует истина, сама по себе, независимо от чего угодно... Теперь иные времена, мой дорогой, иногда и ты должен в чем-то уступить... И ты понемногу, постепенно, уступал, отказывался от всего. — «Уходи, убирайся отсюда, чекалка!» — до слез обиженный, напевал ты песенку сам для себя, потому что маме было не до сына, ей было недосуг, и — вместе со всем остальным, чем так пленительно, так неповторимо драгоценно было твое короткое детство, лучшее время твоей жизни, вместе со всем остальным и этот рыжий, лохматый шакал — если, конечно, хоть чем-нибудь было похоже на шакала это создание твоего воображения, это жившее только лишь в маминой песне, диковинное, смешное, жалкое существо, — этот рыжий шакал навсегда пропадал, исчезал в лесу, в своей берлоге, в неприступных сказочных краях. Но это еще не было бедой, вы все пока еще были вместе. Это еще было безотчетное стремление к счастью, тщетное стремление сохранить счастье, а не беда, игра в войну, а не война. По улице с топотом проезжала порой конная воинская часть, и крепкий, будоражаще приятный запах, оставленный ею, захлестывал, как высокие валы морского прибоя, дворы и дома... Или с негромким гулом проплывал в высоте над городом самолет, и все небо покрывалось сразу крошечными белыми ватными комочками — потом эти белые комочки превращались

в парашюты и один за другим опускались в море. Но ожидание! беды так переполняло вас, так пронизывало до костей, что никто уже не удивился ни началу настоящей войны, ни внезапно свалившемуся на настоящее несчастью. Вот только, в одну минуту тогда окончилось, отменилось, обесценилось все, чем вы до сих пор жили и дышали, до чего могли достать взглядом и дотянуться, и что до тех пор вообще было для вас бесценным. Вот почему у тебя нет ничего собственного, ты гол, как сокол, и твое существование утверждается лишь тем крохотным местом, которое ты занимаешь во мраке неопределенности и которое равноценно, для тебя бесконечной, безграничной вселенной, так как на нем свободно уместается вся твоя жизнь, все, что твои близкие пережили вместе с тобой до сих пор и все, что с вами еще должно приключиться — это единственно возможное и единственное желанное место, где ты каждую минуту готов сразиться с любой бедой, и где, несмотря на все это, или вернее, благодаря всему этому ты потрясающе счастлив, и если это место сохранят за тобой, ты будешь благодарен, глубоко благодарен судьбе, миру, народу, всем и всему — пока что это единственное, что в твоих силах: стать еще одной сухой веткой, подбросить себя, как щепку, в неоглядно огромный, оглушительно гудящий костер вечной благодарности! И поэтому ты должен безропотно принимать все, чем одарит тебя жизнь, принимать с закрытыми глазами, так как все равно не сможешь избежать того, что тебе тягостно, и все равно не сможешь добиться того, что тебе желанно. Мама теперь уже больше не убаюкивает тебя — а лишь будит: «Пора уже, мой большой, мой взрослый сын», — шепчет она тебе на ухо с насмешливой жалостью, подавляя раздражение сочувствием, так как и сама она, в крайности, и сама она все время на бегу и сейчас уже опаздывает в больницу. На дворе льет как из ведра, сквозь серый, непрозрачный занавес дождя едва пробиваются порой гудки из далекого порта — как будто медведь, замученный зубной болью, вырвался внезапно из леса. Пробитые осколками зенитных снарядов черепицы пропускают дождь. Потолок весь в трещинах и пятнах, похожих на извивающихся змей, на чудовищ с разинутой пастью или на дэвов с торчащими клыками. И в голосе мамы уже не слышатся бархатные шажки смешной, лохматой,

рыжей зверюшки с хитрыми блестящими глазками — лишь тускло светится закопченная керосинка и дребезжит пустой, изъеденный ржавчиной котелок. И ты тотчас же просыпаешься, поспешно вскакиваешь с постели, переминаясь босыми ногами на промерзшем полу. В спешке ты попадаешь пуговицами не в те петли, но это не беда, это можно исправить и после, в очереди за керосином, в хлебной очереди, среди чужих людей, а сейчас не время для этого, сейчас главное, чтобы мама не заметила, что ты стараешься убежать как можно скорее, что ты избегаешь ее, потому что не помнишь уже, как ты должен с нею обращаться. Не знаешь, что с тобою творится, не знаешь, почему так получилось, не знаешь, потому что не должен знать — иначе иссякнут у тебя все силы, ты умрешь от голода и уморишь голодом надеющихся на тебя людей. Вокруг — таинственный мрак, и ты — малая, незначительная частица таинственного мрака. Из тьмы пришедший, возвращаешься в тьму и поэтому должен слепо, бездумно, как бидон с продавленными стенками, натывать на все, что только попадется на пути, на чем можно оставить клочок вырванного мяса, обо что можно сломать себе кость, разбить себе череп, так как только темная боль (или болезненная темнота?) превращает твою жизнь в сущее, в действительность, она одна способна подтвердить, что ты в самом деле существуешь, что ты в самом деле — ты сам хотя бы для себя самого. И ты — невольник, раб слепой боли или болезненной темноты, и это рабство получено тобой по наследству. И поэтому ты вскакиваешь безропотно на рассвете, полусонный, полуголодный, полузамерзший занимаешь очередь на хлеб или на керосин, и ни разу еще не пожаловался, ни разу не уклонился, так как ничто не толкает тебя к непокорности, ничто не пробуждает в тебе желания взбунтоваться, — все к чему-то прикованы, как твой отец к постели; все вечно что-то ищут, как твоя мать — лекарство или горсть пшеничной крупы; и этим исчерпываются все стремления, к этому сводится цель жизни, в этом предел всех мечтаний. И ты, с камнем сна на шее, удерживающим тебя в глубине, шаришь обеими руками в тине, воображая, что ищешь жемчужину, которая должна принести счастье всем, всем без исключения, кому только счастье нужнее, чем хлеб, нужнее, чем керосин. Так, шаря и

ощупывая, плаваешь ты вокруг потонувшего корабля своего детства, от которого остался только остов, проплетенный водорослями, гнездовые медуз и крабов, от куда уже давно выбраны все сокровища — и теперь только выскакивают порой мельчайшие рыбешки, как последние искры догоревшего, угасающего костра. А у тебя стоит в ушах голос отца — он говорит, не раскрывая глаз — «Что отдаешь по своей воле, того уже не вернешь» — и ты еще яростнее, еще отчаяннее разыскиваешь неожиданно, незаметно исчезнувшее детство, как будто слова отца относились именно к нему, к твоему детству, к тому, что ты и не мог сохранить, ибо это совсем не зависело от тебя. Но ведь единственное светлое, властное чувство, которое овладело тобой в палате у отца, было именно это, ощущение расставания с детством — словно здесь, в этой больничной палате, у тебя, одурманенного запахом холодной котлеты и скованного темной, мучительной любовью, незримые хирурги вырезали детство из сердца. Но ты не почувствовал боли, потому что, видимо, давно уже примирился с его утратой и признавал всем своим существом, что сможешь жить без него, как живут без гланд и без слепой кишки; боялся же ты его утратить лишь до того, как убедился, что оно ушло, и жалел себя из-за этой утраты лишь до того, как выяснил, по какому, собственно, поводу тебе хотелось себя жалеть. И тогда рожденный от этого насильственного сопряжения страха и жалости гнев, чувство, еще более темное и мучительное, чем любовь к родителю, гнев, бурный, кипящий, как горный поток, внезапно подхватил тебя, втянул в свое студеное лоно — и оттого ты без тени сожаления покидал город своего детства, и так нетерпеливо ждал, когда наконец тронется поезд и увезет тебя подальше от этих мест; твой гнев как бы разлился по всему вокзалу и, казалось, это он, твой гнев, понуждал к лихорадочной беготне выброшенных из гнезд, взбудораженных людей — и они слепо, бессмысленно ронлись, натыкались друг на друга и на багаж, наваленный кучами на каждом шагу, словно нарочно для того, чтобы затруднить передвижение. А главное, каждый словно считал своим долгом толкнуть или задеть, плечом маму, точно намеренно, чтобы она ударилась о стенку вагона — как бы говоря ей: что ты стоишь здесь, поднимайся же в вагон, туда, где свой сын. Но



мама не замечала никого, вцепившись обеими руками в ворот своего плаща, она смотрела снизу на тебя и в который раз уже повторяла одно и то же, одно и то же: «Ну, смотри, веди себя хорошо, не серди бабушку и дедушку, слушайся тетю Нино...» И, наверно, ей тоже, как и тебе, не терпелось — когда же наконец тронется этот бессердечный, равнодушный, слепой и глухой поезд, застывший на рельсах, как какая-то выставочная модель, макет поезда, который и не мог, да и не собирался сдвинуться с места. А ты смотрел на маму из вагонного окна, а перед глазами у тебя — в силу твоего своенравия и упрямства — стоял утопающий в зелени двор Еленицы, а в нем, разумеется, и сама Еленица, затерянная в зеленом сумраке сада, существо хрупкое и пугливое, как рыбка в аквариуме, Еленица, которая боится и нос высунуть на улицу из своего сада, так как уверена, что ее немедленно похитят цыгане. Сама она придумала себе или взрослые ей внушили такие страхи, но ты и в самом деле ни разу за все время вашего молчаливого знакомства не видел, чтобы она вышла из своего двора. И сейчас ты, сердитый на родителей, безмолвно смотришь на нее одну сверкающим взглядом, и она, как обычно, слабо, растерянно улыбается в ответ. Этим исчерпывается все ваше общение, вся ваша любовь, в основном, выдуманная взрослыми, хотя и не совсем безосновательно, потому что по ночам ты порой неожиданно, скинув одеяло, садился в постели у мамы и спрашивал взволнованно, возбужденно: почему и каким образом похищают цыгане детей — если похищают в самом деле. — «Засни, а то позову шакала, чтобы тебя унес!» — сердилась разбуженная тобой мать и ты засыпал, путаясь в смутных мыслях, и во сне будто бы не цыгане, а рыжий, лохматый шакал похищал Еленицу. А мама Еленицы и во сне жарила рыбу, как и обычно наяву — стояла над керосинкой с засученными рукавами и, казалось, из года в год переворачивала на сковородке одну и ту же рыбину кончиком засаленного ножа. Отец Еленицы и во сне, как наяву, вытачивал свирели, и под его пальцами во сне ворковал, свиристел, раскатывался трелью еще сырой, еще безгорлый тростник. Таким образом никто не мешал шакалу унести Еленицу. Ты один кричал, звал на помощь, но голос застревал у тебя в горле; ты один преследовал шакала, но не шли, замирали

ноги, ты не мог сдвинуться с места. Ты просыпался в поту, с колотящимся сердцем, — и сейчас, как тогда, в испарине и с колотящимся сердцем, повторяешь бессмысленно: Еленица, Еленица, Еленица — чтобы не быть там, где ты сейчас, не испытывать того, что ты испытываешь и, главное, самое главное, чтобы как-нибудь удержать подступающие к глазам помимо твоей воли откуда-то из глубины души слезы. А на перроне роятся, мельтешат, как муравьи, приезжающие и отъезжающие, провожающие и встречающие. Вот какую-то женщину, упавшую в обморок, оттащили к стене, чтобы ее не затоптали. В головах у женщины сидит девочка лет пяти, прижимая к груди чем-то набитый мешочек с зашитым верхним краем, и спокойно ждет, когда ее мама сможет встать на ноги. Почему-то твой взгляд то и дело убегает в ту сторону. Вернее, куда бы ты ни посмотрел, тебе неизбежно попадаются на глаза женщина в обмороке и ее дочка с мешочком, прижатым к груди. А поезд недвижим и безмолвен. Словно он стоит не на рельсах, а на пьедестале, как памятник всем отслужившим, усталым, изнемогшим поездам. И однако ты с нетерпением ждешь, когда он тронется, ждешь с замирающим сердцем паровозного гудка. Но и матери твоей не легче — она то поправляет выбившуюся заколку в волосах, то как будто ищет что-то в кармане плаща, но потом снова обеими руками вцепляется в его отвороты и смотрит на тебя снизу полными слез глазами в нелепой, беспочвенной надежде, что, может быть, не найдет тебя на месте, что, может быть, ты уже уехал. Но увидев тебя там же, в окне вагона, высунувшимся до половины, она робко улыбается и начинает снова читать тебе наставления, в сотый раз повторяет то, что уже сказано, потому что больше ей нечего сказать. Она машинально улыбается тебе, а в глазах у нее блестят слезы. И ты уже не можешь отдать себе отчет — какие же чувства разрывают тебе сердце, но знаешь одно — что тебе уже не вмоготу выносить все это. В самом деле, не вмоготу, еще немного, и ты разреवेशься, как малое дитя — хотя ты уже не ребенок, ты оставил свое детство навсегда в больничной палате у своего отца, да и, наконец, ты попросту осрамишься перед девочкой с прижатым к груди мешочком, которая так спокойно, молча, как взрослая, ждет, когда ее мать вернется к жизни, придет в себя. Лишь когда поезд

тронулся, почувствовал ты облегчение. Никогда, ничему еще ты не радовался так сильно, так осмысленно. Мама, придерживая рукой на затылке узел прически, бежала вслед за поездом в толпе, натыкаясь на спешащих, суестьщихся людей, на чемоданы, наваленные на каждом шагу, бежала, бежала, бежала... И так она будет бежать всегда, потому что детство — это незажившая, отверстая рана, из которой непрерывно изливается, как кровь, оставшаяся жизнь. А ты воображаешь, что вышел из детства, что тебя, раненного, вынесла (это все под влиянием кинофильмов) с поля боя детства сестра милосердия (хотя бы, скажем, тетя) и тебя бросили, покинули, предоставили самому себе и своей воле (понимай, как хочешь) на другом, гораздо более обширном поле всей остальной жизни. Пока еще ты рад этому, тебе даже нравится, что ты ранен (все уважают раненых, все смотрят на них с почтением), что ты не убит, а отделался раной, притом легкой. Но как только наберет скорость неприбранный, грязный, прокопченный, с забитыми фанерой окнами, поезд, тот, что только что вывел тебя с поля боя детства в бескрайние степи, ты тотчас же поймешь, тотчас же почувствуешь, чего стоило тебе спасение, что тебя ожидает впереди. И в самом деле — чем ты надеешься остановить кровотечение? Прикладывай к ране хоть землю, хоть мох — все равно, не поможет. Вокруг — пустота, немая, беспредельная. Где-то далеко, в мазутной луже, квакают лягушки. Где-то в еще большей дали орут, воют люди-волки. А около тебя все — трава, камни, кусты — запачкано кровью, твоею же кровью. Лес слепит багрянцем. А ты валяешься на земле, как пустой мешок. Каждый примостился у своего дерева. А у тебя даже не осталось сил, чтобы крикнуть — помогите! Впрочем, если даже и крикнешь — ничем, кроме насмешки, не ответит тебе окружающий мир. Твой же призыв вернется к тебе, да еще по-смешному искаженный: «Бомойте! Бомойте! Бомойте!» Каждый рубит свое дерево, часто-часто стучат топоры. Деревья трепещут, шелестят, беззвучно взывают: — «Помогите!», и ты тоже кричишь беззвучно, как дерево: — «Помогите, помогите, из меня, может быть, выйдет поэт, люди, помогите!» — «Иж меня, моджет, выйжет фозт» — передразнивает тебя, насмехается над тобой эхо. А рядом, на прибрежной гальке женщина стирает в речке свою рубашку; — «Воды!

Воды!» — кричишь ты, беззвучно, как дерево. — «Воззы! Воззы!» — отзывается эхо. А меловая корова стоит у тебя над головой, угрожающе трясет меловыми рогами, скрежещет меловыми зубами, осыпает тебя меловой пылью из меловых ноздрей и роет меловым копытом усыпанную мелом землю. — «Бабушка, бабушка, — зовешь ты. — Во сне за мной будто бы меловая корова гналась». — «Маргарита! Маргарита! — зовет бабушка соседку. — Что может значить меловая корова во сне?» — «Не знаю, что и сказать, — недоумевают Маргарита. — Корова, вообще — это к добру, но чтобы меловая — никогда такого не слыхала. — Или, может, это копилка была?» — «А еще называешься толковницей!» — ехидничает бабушка. — «Когда я себя так называла?» — смеется Маргарита. — Пропавши они пропадом, все гадалки да толковницы!» А между тем она ведь в самом деле умеет гадать. И в этом деле она впереди всех. — «Все позабыла, ничего не вижу», — покривляется для начала, а когда пристанут с ножом к горлу (все ведь любят гадать, всем любопытно узнать свою судьбу, свое будущее), в конце концов согласится и, хитро улыбаясь, нежно пощекочет тебе ладонь пухленьким пальцем: вот это — линия жизни, это — любви, а это — судьбы. В такие минуты все верят ей, и с протянутой рукой, как нищие перед церковью, дожидаются своей очереди. Подай милостыню, Маргарита, ничего плохого нам не говори, плохого нам и так хватает. Все в душе волнуются необычайно, но для вида отшучиваются: «Как же, поверили твоим басням» — в особенности женщины, хотя и суматошатся тревожно, как куры, которым пригрезилась лисица, не находят себе места, выходят, входят, то наливают себе студеной воды из кувшина, то перевешиваются через балконные перила, укрывают в темноте двора разгоряченные головы. Возможно, такая их обостренная чувствительность объясняется еще и тем, что это гаданье по руке происходит главным образом летом, во время вечернего чаепития на балконе, и все так увлекаются, что лишь уже далеко за полночь бабушка вдруг хватается за голову: «Ах ты, Боже мой, а я еще и мальчику (то есть Нико) не постелила». А вокруг мирно, как корова в стойле, дышит летняя ночь. Все отдает, отсвечивает хлебом. Что может быть лучше лета — июнь косит, июль жнет, август, с ястребком на большом пальце, охотится за


отъевшимися пшеницей и ячменем перепелами. А рядом, на прибрежной гальке, женщина стирает в речке свою рубашку... И все же нигде так не чувствуется дыхание лета, как на широком балконе, у родных Нико, в особенности по ночам, в темноте, напоенной запахами липы, жасмина, бабушкиных роз, из которых она варит варенье, под таинственное журчанье голоса Маргариты. Вокруг ярко сияющей лампочки носятся, кружатся, пляшут бабочки и мотыльки. Откуда-то вдруг влетит ночная бабочка, ударится с размаху о стену, о потолок, снова о стену и, не найдя того, кому несет радостную весть, еще больше распалившись, вылетит вон, затеряется в темноте летней ночи. Где-то далеко, наверно, на горе над Нукриани, гукает филин. Не часто, каждый раз неожиданно, жутко. — «Своих изведи!» — отвечает ему бабушка — незлобиво, между прочим, на всякий случай. Шелестят, шуршат утопающие во мраке фруктовые деревья. В небе сверкают огромные, яркие звезды — словно кто-то минуту назад вытер звездное небо влажной тряпкой. И тот, кто это сделал, словно еще где-то здесь, недалеко, только не видно его, пока еще не видно, но он покажется, должен показаться в свой час. А дыхание его явственно слышно — спокойное, размеренное. Сердце переполняется блаженством, к которому примешивается страх, хотя, кажется, нет никаких причин ни для страха, ни для блаженства — происходит обычное вечернее чаепитие на балконе. Присутствуют и один-два соседа. Маргарита — обязательно. Без Маргариты вечерний чай не имеет вкуса, ничего не стоит — все сводится к обычному скудному ужину, постной трапезе — лишь для того, чтобы подкрепиться. Иногда появляется и Иосеба — из соседнего двора, прямо из душной своей конюшни прибредет на огонек, неожиданно возникнет за перилами балкона, заспанный, с измятым лицом, с соломинками в волосах: «Добрый вечер, соседи, хлеб да соль, чай да сахар!» — «А, чтоб ты лопнул!» — вздрогнув от неожиданности, отзывается шутливым проклятием Маргарита. А бабушке почему-то жалок Иосеба — весь как бы не из этого мира (несмотря на вынесенный из конюшни крепкий, в высшей степени «посюсторонний», жизненный запах), растерянный, беспомощный, словно только что выпавший из гнезда, если, конечно, можно сравнить пятидесятилетнего человека с птенчиком, а

конюшню с — гнездом. — «Бедняга! — восклицает ба-
бушка. — Может, ты так давно за столом не сидел,
что и не помнишь, как это делается! Иди сюда, не хо-
чешь есть — посиди так, возьми чашку в руку». —
Иосеба чувствует, что бабушка жалеет его и, под на-
пывом чувств, говорит ей: «Откуда ты взялась, кто
тебя породил, душевный ты, божеский человек!» Иногда,
бывает, пожалует в гости к вечернему чаю и доктор, и
тогда, естественно, весь вечер вспоминают давно минув-
шие дела. Вернее будет сказать — вспоминают взрос-
лые, старшие, а Нико запоминает. Пьют бедняцкий чай,
жидкий, безвкусный, вместо печенья и пирожных уго-
щаются воспоминаниями. Рассказывают, как прежде
пили чай по вечерам, как сервировали его, украшали
чайный стол, что полагалось и что не полагалось по-
давать к чаю, как прежние люди принимали во внима-
ние каждую мелочь и как все принимали близко к серд-
цу; как они были отзывчивы к другим, даже к посто-
ронним людям (а теперь и не оглянутся, даже если кто-
нибудь умирает рядом), как были щедры... Потому что
возможности у них были, сестрица ты моя, или братец
ты мой (в зависимости от того, кто рассказывает и
кому); небось им не приходилось заботиться что и где
достать — все получали готовым и по первому жела-
нию. Достаточно было заказать — и все приносили.
Еще сами же приносящие говорили спасибо. И люди
были хорошие и жизнь вели неплохую. Хорошо, хоро-
шо, пусть будет наоборот: жизнь была хорошая и люди
поэтому неплохие. Пускай будет так. Тем более, что
ничего от этого не меняется. Немножко, наверно, пре-
увеличивают, жизнь в нужде делает их поэтами, играют
роль, входят во вкус, старики ведь тоже, наподобие
охотников и рыбаков, любят хвастаться и все разду-
вать. Нико и сам знает, что до войны жизнь была го-
раздо лучше, не говоря ни о чем другом, в Батуми, на
их улице, на углу пекли бублики с целое колесо вели-
чиной, но все же трудно поверить, что можно войти в
магазин и увидеть там висящие на крючьях десять
сортов колбасы, три сорта икры в бочонках и пять раз-
ных видов сыра. А кусты жасмина захлестывают бал-
кон еще более сильным, крепким ароматом, словно на-
зло Нико, чтобы еще больше одурманить его и вер-
нуть, подсунуть в его память все, что сейчас существу-
ет вокруг него, происходит, ощущается, подразумева-

ется — все то, что есть сейчас, чего скоро не будет и что, если не полностью, то частично, Нико все же должен сохранить, запомнить для завтрашнего дня (ведь он, может, и не умирает!), для послезавтрашнего, вообще, для будущего (ведь видите же, что люди живут воспоминаниями, чем больше у них есть о чем вспомнить, тем легче и тем больше они могут переносить невзгод); и Нико тоже должен записать, запечатлеть, нарисовать в своем сердце — как заключенные пишут и рисуют на стенах тюрем, где им пришлось побывать, — невесть сколько мыслей, мечтаний, пожеланий или стремлений. В этом, наверно, и смысл меловой коровы — она означает минувшую, мертвую жизнь, ту, что существует лишь в нашей памяти. Она ничего не дает тебе, ничего не требует от тебя — лишь непрестанно напоминает, что жизнь была и до тебя и что после тебя она тоже будет. Короче говоря, хоть это и корова, но вся из мела, распавшаяся, опустошенная, обращенная в пыль — она состоит из мертвого минерального вещества и, разумеется, не может ни принести теленка, ни давать молоко. А гонялась она во сне за Нико для того, чтобы он вел себя осмотрительно, был всегда настороже, потому что, по словам Ваню-учителя, война не кончилась, а только еще началась, и надо ждать худшего. Вот что означает меловая корова — она олицетворяет не только минувшую жизнь, но и грядущую: прошлое и будущее, оба одинаково мертвые, так как одно уже было и ушло, а другое еще не воплотилось и еще вопрос, воплотится ли когда-нибудь. Одно состоялось без Нико и исчезло, а другое состоится без него, если вообще состоится. А он, Нико, и другие такие, как он, сегодняшние, составляют границу между этими двумя меловыми берегами, между бывшим и еще небывшим, оказались посередине, и поэтому, как твердит Ваню-учитель, им следует иметь больше знаний, хотя бы немного больше того, что они знают. В конце концов они должны знать хотя бы то, что корова, если она настоящая, приносит теленка и дает молоко; что виноградник дедушки Гуго — это своего рода убежище для них в час их очередных, хотя бы и ребяческих, испытаний. Лишь туда не осмелилась ворваться меловая корова, потому что виноградник — это жизнь, а смерть, если и боится чего-нибудь, то одной лишь жизни. — «Эй, ты, батумец! Пока я твердо стою обеими ногами

в моем винограднике, я не боюсь ни врага, ни друга».
— так обычно говорит дедушка Гуго. На голове тушинская шапочка, маленькая, полинявшая на солнце. Из-под шапочки нависает на лоб вихор, а из-под вихра лукаво поблескивают его глаза. — «Иди сюда, попробуй еще вот этого, — присев около врытого в землю кувшина, он прямо в черпаке подносит ему вино. — Трех-летней выдержки. Твой отец любил мое вино. Эх, жаль, жаль... — а потом спокойнее, сочувственным тоном, как с равным: — Ничего, все будет хорошо». — И ты веришь, что все будет хорошо, невольно поднимаешься на цыпочки, чтобы вино из черпака не пролилось тебе на грудь. С потолка погреба свисают гирлянды из лука и чеснока. В углу громоздятся кучи огурцов и помидоров, приготовленные для засола. В кучах попадаются и мелкие, с кулак, полосатые арбузы. На прохладных глыбах глинистой земли валяется мотыга. К рукоятке мотыги привалилась круглая, с колесо или жернов, каменная плитка. Из открытого кувшина лениво, медленно, как бы нехотя поднимается винный дух, — освобожденный, облегченный, но словно бы не стремящийся к освобождению. Ему, будто бы, приятнее оставаться взаперти в кувшине, под крышкой, обмазанной глиной, нежели взирать на потолок погреба. Воздух весь насыщен винным духом. Упавшая в кувшин оса тщетно шевелит мокрыми лапками. Таков нрав у винца! Кружится, булькает коварно поблескивающая жидкость. Ну-ка, присядь рядом, что стоишь, как лошадь! Упрись коленями, ничего, если слегка запачкаешь брюки. Зато выйдет из тебя человек. Давай, выпьем за тех, кто сейчас под этим солнцем не греется — не имеет возможности. У остывающего тона лежат на собственной шкуре голова и ножки козленка. Шкура изнутри еще влажная. Вчера был виноградный сбор. Дом еще не приведен в порядок, он должен вместить весь убранный урожай. Добра вдоволь! Изобилия вашему дому! Они еще не скоро разберутся, успокоятся. Дело не пустяковое! Еще одну великую войну, войну не на жизнь, а на смерть вели — и вот выиграли, победили! На ступеньке лестницы валяется раздавленная гроздь винограда, над нею вьются пчелы, жужжат, пьют сладкий, пьянящий сок. Пируют на свой лад. Под тутовым деревом стоит осел, вывернув шею, смотрит в сторону дома, как будто он из-за своей глупости, из-за своего ослиного характера

поссорился с хозяевами и теперь нетерпеливо ждет, когда же простят его, когда же помирятся с ним люди — гораздо более умные, чем он, и поэтому способные все понять и все простить. Пусть побьют меня, пусть изругают — думает он. Не только погреб, но и весь дом полны винограда. На стенах, где только есть место для гвоздя, висят виноградные связки, ветки с гроздьями. Фотография дедушки Гуго в молодые годы затерялась среди них. На карточке дедушке Гуго двадцать пять лет. Шея у него толстая, натруженная. Большие пальцы обеих рук засунуты за узенький пояс — выходи, кто не трус, поборемся. Он недавно вернулся из Германии. Побывал в плену — но не теперь, а во время первой мировой войны. Данкемайнгерр, данкемайнгерр — больше он ничего не знает по-немецки. Нет, знает еще одно: фройлен. Свою жену так называет — «Эй, фройлен, тебе говорю, фройлен, девчонка! Если бы моя фройлен в свое время ногу не сломала, до сих пор десять раз сбежала бы от меня». — «И сейчас не поздно. Еще дождешься, Бог свидетель», — огрызается фройлен, тетя Анико. — «Фройлен, посмотри сюда, говорю. Помнишь, в винограднике... Пстой, я совсем о другом. Когда мои свойственники привалили к нам в гости.., Ну, я и моя фройлен остались в ту ночь в винограднике. А как же — где нам было разместить столько народу!» — «Барахтаешься с утра в вине — вот и отнимает у тебя мозги нечистый», — ворчит тетя Анико. — «Свое пью — это мой пот и мои труды. Благослови Господь корень матушки-лозы! Приземляйся, подогни колени, говорю! Раз ты батумский, так уже и вниз на землю глядеть не хочешь? Когда твой отец в первый раз приехал в наши края, не могли найти человека, чтобы его перепил. Наконец привели к нему одного попа — так и тот с ног свалился, и твой отец его льненького домой отвел, а утром пошел справиться, как, мол, поживаете, отче, с похмелья? Поп сидел с завязанной головой на нераскрытой постели и тут позабыл и сан свой, и учтивость. Выругал будто бы твоего отца: «Пошел ты, так твою имеретинскую мать». Очень уж близко к сердцу принял свое поражение. Хоть и священник был, но к тому же и кахетинец, считалось, что умеет пить, и очень этим гордился. Так, говорит, твою имеретинскую мать. Кахетинцы всех грузин, что за туннелем живут, имеретинами называют».



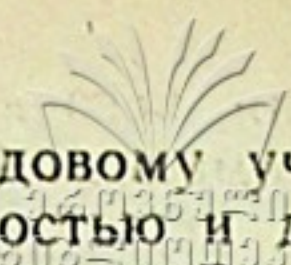
А мир, хмельной от винного духа, вертится, как карусель. И в каждой коляске карусели сидит омурный, огорченный священник с завязанной головой и смотрит на Нико. Обида на отца вымещается на сыне — а Нико ведь сын своего отца. Нико становится смешно, он смеется, смеется, не может перестать. — «Ладно, хватит, хоть мальчишку перестань поить!» — сердится фройлен. Нико хочет тихо, мирно поговорить с тетей Анико, спокойно объяснить ей, что он уже не ребенок, что война не знает, что такое дети, что в годы войны дети растут так же быстро, как в сказках, но он уже стоит под шелковицей и обнимает за шею обиженного осла. От осла пахнет потом, сеном, пройденными дорогами, виноградниками, ослиным недоумием и упрямством. Шершавый — точно это вывешенный на заборе для проветривания палас, а не живое существо с печальными, влажными глазами. Тем временем уже стемнело. В проулке между заборами другой осел с грохотом катит тележку. Кто-то припозднился в винограднике и теперь торопится домой. Всем хочется домой, потому что ничего не может быть лучше возвращения под собственный кров. Даже для гусей. Гуси, гуси, домой, домой! А тележка натывается на камни, невидимые в темноте, и грохочет еще пуще. — «Тише, волчья сыть!» — сердится на осла хозяин. И осел безропотно сносит несправедливый упрек. Осел хоть и неумная тварь, а и он не всегда бывает неправ. И все же обязан терпеть, не поднимая головы, как бы с ним ни обращались. А как же — на то он и осел! Кряхтит, тужится, изо всех сил тянет вперед тележку. Невтерпеж ему — когда же покажется их двор, похожий на все другие, но все же чем-то отличный от всех; и не чем-то, а запахом его — собственным запахом, который остался от него в этом дворе и к которому он сейчас стремится. Дотащит тележку до своего двора, почует собственный запах вокруг и — все, до завтра он свободен, может стоять и думать хоть о людях, хоть об ослах. Уже стемнело, ночь. Всюду развешаны связки виноградных гроздьев. На одной из кистей сидит сверчок, прихваченный из виноградника, и стрекочет, стрекочет без конца. Ему все равно, где быть — в винограднике или здесь, в доме. И ни за что не замолчит — хоть стучи в стену, хоть свети на него лампой. Дедушка Гиго бродит по

комнате в нижнем белье — он похож в белой рубахе и исподнем на украинского казака. В руках у него керосиновая лампа, он освещает ею то одну стену, то другую. Следом за ним тянется запах керосина. Видимо, он проливает керосин из лампы. — «Устроит пожар, чтоб ему пусто было, сгорим дотла, Бог свидетель», — ворчит в темноте Анико. — «Прошу прощения. Погодите минутку. Покажитесь хоть, где вы лежите», — пошатываясь, бродит дедушка Гиго. Ему самому смешно оттого, что он хмельной. И все же весь дом напоен жарким запахом солнца. Солнечный запах заглушает все остальное. По стенам, по потолку движутся огромные, длинные тени — разгуливают наподобие дедушки Гиго. Прыская, охая и ахая, притворно брюзжа и грозясь, гнездятся женщины в темных углах. На мгновение, неожиданно, показываются среди расплывшихся, неузнаваемых предметов и вещей голая рука и локоть, стекающие по плечам волосы, видоизмененные, неузнаваемые, словно сразу выросшие и раздавшиеся женские фигуры: в широких, свободных ночных рубашках, мелькнув на мгновение, вновь сливаются с клейкой, теплой, приятно жужжащей тьмой. Эй, батумец! Ты не заснул? Хочу поговорить с тобой. Какое сейчас время разговаривать, несуразный человек, дай нам покой! Прошу прощения. Погодите минутку. Покажитесь, где вы лежите. Как бы мне не пристроиться случайно рядышком с кем не надо. Слушай, не выводи меня из терпения, Бог свидетель! Ну, так вот, о чем я тебе говорил? Ах да, года все путаю, неправильно вспоминаю. То есть, что когда случилось. Вон ту карточку видишь? На ней мне двадцать пять лет. Когда мне было семнадцать, отец мой, благослови Господь его душу, однажды мне говорит: привези из лесу колья для виноградника. Я позвал с собой девять человек. Сам десятый. И спрашиваю отца, что с собой захватить? Чего, говорит, меня спрашиваешь, что хочешь, то с собой и бери. Вино тебе язык развязало, непутевый человек, от вина заболтался. Дай ребенку спать. Я не ребенок больше, тетя Анико, найн, капут ребенок, фройлен. Так вот, наполнил я здоровенный бурдюк, не ведро, а полтора ведра туда вошло! Водки нам кувшина не хватит, говорю отцу, благослови Господь его душу, а он — сколько надо, столько и бери. Я взял

полтора ведра. Ну и отправились мы в лес. Надо было мне прежде ногу сломать, до того как с тобой встрети-
лась. Бог свидетель. Пстой, жена, дай сказать. Вошли мы в лес и—давай, кто во что горазд. В те времена лес был весь княжеский и размежеван между владельцами. Застанут тебя в чьем-нибудь лесу, сразу спросят с тебя бумагу, есть ли у тебя разрешение деревья рубить, лес истреблять. Короче говоря, застиг нас сторож, лесной объездчик. Две арбы наши распряг. А в это же время, на счастье, и отец мой вдруг появился. А ну-ка, побыстрее, устраивайте угощение, говорит мне потихоньку. Сперва заставил выгрузить провизию из сумок. Выпьем, говорит, за того человека, который другому человеку в его деле не препятствует. Это ты, Патарклишвили, говорит лесник и глядит на моего отца из-под ладони. Я самый, говорит отец. Заставил-таки лесника слизнуть свой собственный плевок. Плевал я на такого человека, который свой собственный плевок слижет. Ложись, успокойся, слышишь, эк разговорился! Можно ли так вину поддаваться! Пстой, дай на тебя посмотреть. Эй, фройлен, данкемайнгерр. А виноградные кисти отливают при свете лампы красным цветом. Лист граната блестит, как осколок зеркала. А сверчок стрекочет, стрекочет без конца. Наутро я дам тебе выпить водки еще в постели — сразу вылечишься, — говорит Нико дедушка Гуго, но уже издалека, из какого-то темного угла. Пошатывается там, хихикает, должно быть, нашел жену. А та, онемев от стыда, лежит, затав дыхание. Ну ладно, замолчи, утихни, Бога бойся. Господи, слава имени твоему. Если ты есть где-нибудь.

II

Потом пришел проведать Нико Вано-учитель, и это было, наверно, самое значительное событие за все время его болезни — только, конечно, Нико обрадовался бы гораздо больше, если бы его мать оказалась волею случая здесь, около него в это время, если бы она увидела, как любят и ценят ее сына всеми любимые и уважаемые учителя. Правда, Вано-учитель считался всеобщим заботником и радетелем, но тем не менее это была большая честь — проявить такое вни-



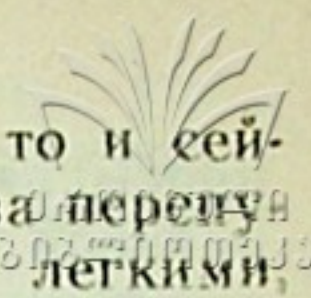
манье, такую чуткость по отношению к рядовому ученику, притом ученику со средней успеваемостью и довольно предосудительным поведением. Визит Вано-учителя означал ведь также, что мнение Евгении Дугладзе о Нико не разделялось всей школой, не считалось общим мнением, и что существовали еще педагоги, которых интересовали не только знания и успеваемость ученика, а еще и его душа и обстоятельства его личной жизни. А это рождало в любом ученике — Нико, разумеется, был в их числе — чувство уважения как к самому себе, так и к учителю, который ценил его и был его доброжелателем. Даже вручение ордена наверно не обрадовало бы, не осчастливило бы его так, как взволновало и осчастливило неожиданное посещение учителя. Между прочим, он сразу почувствовал по голосу бабушки, что в его жизни происходит нечто в высшей степени значительное, но все же не сразу сумел высвободиться из дремучего полусна: не так легко оказалось мгновенно перескочить из времен минувших, оживших в памяти, в текущее время, — когда он повернулся лицом к комнате, бабушки уже не было, зато Вано-учитель сидел на стуле около печки, заложив ногу на ногу, и просматривал раскрытую во всю ширину газету. А ведь, казалось, бабушка лишь мгновением раньше окликнула его: «Проснись, к тебе гость пришел». Нико были видны лишь скрещенные ноги Вано-учителя и пальцы его, державшие газету, но он почему-то сразу понял, кто этот человек, сидящий перед ним, с лицом, закрытым газетным листом. Однако, хотя Нико и узнал своего посетителя, он не мог сразу вспомнить, какое тот имел отношение к нему до его «смерти», как ему следовало вообще с ним держаться, о чем можно было говорить, а о чем — нет. Поэтому непроизвольное чувство радостного изумления сразу переросло у него в замешательство, к которому присоединился и страх — так оно и должно было случиться, ибо его чувства были пока еще смутны и недостоверны, он еще не полностью вернулся в этот мир, и его собственное, им самим восстановленное время вовсе не совпадало с календарным, текущим временем, так что две недели, проведенные им в постели, весьма возможно, еще и не наступили по календарю и могли быть

для него в одинаковой степени равноценными одной мимолетной секунде или целому нескончаемому веку)

С таким благоговением смотрел Нико на гостя, словно это был не обыкновенный (или хотя бы необыкновенный) учитель истории, а некий неожиданно воскресший и вернувшийся в мир исторический деятель. Впрочем, так наверно и было в самом деле, только Нико, да и все другие, в силу обычной человеческой близорукости и обычной на все распространяющейся звериной подозрительности, и помыслить не смели, чтобы они могли состоять в повседневных, совершенно естественных, житейских взаимоотношениях с историческим персонажем — быть знакомыми, здороваться, разговаривать с ним, улыбаться ему в лицо, а за спиной сплетничать о нем, издеваться над ним или жалеть его — словом, обращаться с ним в точности также же, как и со всеми другими согражданами; не могли и помыслить, оттого что знали о нем, о его жизни и делах не по газетным биографиям и радиопередачам, а из повседневной деятельности — кое-что слышали от него лично, кое-что от других, а это, если и не делало недостоверным, то явно обесценивало и лишало убедительности услышанное в их глазах. Если бы они увидели его приключения в кино или в театре, то, быть может, стали бы носить на руках актера, олицетворявшего его, приписывали бы ему всевозможные героические качества, даже сделали бы его своим кумиром, — но человека, бывшего героем лишь собственных рассказов, они могли почитать не больше, чем того заслуживал любой другой участник войны, и не меньше, чем это подобало их согражданину, жителю их города, и притом учителю их детей. Собственно говоря, никто толком и не знал истории Ваню-учителя, так как он сам никому не рассказывал последовательно, от начала до конца, о своих приключениях. Лишь изредка, если приходилось к слову, упоминал он о каких-нибудь обстоятельствах своей жизни, и на основании этих скудных сведений теперь уже сам город воссоздал биографию этого много испытавшего человека, действительно мученическую биографию — воссоздавал, разумеется, сообразно своим соображениям и своему тогдашнему умонастроению. Но как бы ни пересказывали, ни видоизменяли, ни выворачивали слышанную

в разное время и в разных вариантах историю, в конечном счете она получалась одинаково тягостной и печальной. И в самом деле, представьте себе, каково лежать в общей могиле, в земле, смешанной с твоей и чужой кровью? Понемногу начинаешь задыхаться. Как долго можно задерживать дыхание? При каждом вдохе легкие у тебя наполняются жидкой грязью. А окоченелые трупы других, расстрелянных вместе с тобой людей, как колючие кусты, преграждают тебе путь, словно силой удерживают тебя, не позволяют выбраться из могилы: — раз, мол, тебя расстреляли вместе с нами, так ты и должен оставаться с нами до конца — но ты, хоть и хочешь остаться с ними, однако не можешь, не имеешь права, потому что и до расстрела и после ни на мгновение не покидало тебя больше смерти леденящее предчувствие гораздо более ужасающего, чем смерть, несчастья. Всем своим существом чувствуешь ты, что какое-то трудно вообразимое, роковое, непреодолимое испытание свалилось на тех, кто тебе дороже всех на свете, кого ты оставил как будто бы в безопасности, далеко от полей войны, за Кавказским хребтом, в родном их городе; после расстрела, как и перед расстрелом, ты думаешь лишь об одном: как бы помочь им, не себе, а им, попавшим под собственной крышей в беду еще большую, чем твоя — как бы, каким способом подать им весть чуть ли не с другого конца света, из такого далека, какое и нельзя представить себе по меркам этого мира — из общей могилы, в которой ты лежишь вот уже целый час, дожидаясь, пока затихнут вокруг звуки и голоса, свидетельствующие о каких бы то ни было признаках жизнедеятельности — чтобы родиться самому вновь, вырасти, как трава, из собственной могилы.

По его словам, он и не думал, что умирает, что умрет, он вообще о себе не помнил, ни перед расстрелом, когда их выстроили на краю вырытой ими самими ямы, ни после расстрела, когда он наконец с трудом выбрался из наскоро засыпанной могилы. Когда же выбрался, то спугнул какого-то зверя, любителя мертвечины — зверь рыл землю сверху, навстречу ему, чтобы добраться до трупов, и с перепугу бросился наутек, затерялся в ночной тьме, а он, Ваню-учитель, сам не зная почему, погнался за ним. И говорит, что это его и



спасло, что если бы он не кинулся в погоню, то и сейчас был бы там, откуда бежал. И он гнался за перелетным зверем, раненный двумя пулями, с легкими полными кровавой грязи, ослепший, с землей в ушах, с забитыми ноздрями. Он плевался грязью и бежал по цепочке черных следов на снегу, и сердце, казалось, вот-вот выскочит у него из груди. Впрочем, возможно, на деле не было никаких следов, и он сам все это вообразил, чтобы выбраться, вырваться оттуда. Но спасшись от могилы, он вдруг очутился снова в яме, снова оказался заживо похороненным, теперь уже надолго, и притом совершенно по доброй воле. Сказать, конечно, все легко — но врагу не пожелаю провести целую зиму в яме для хранения картофеля — провести, затаясь, как мышь, остерегаясь выдать себя тишайшим шелестом, в вечном страхе и ожидании. Не лежишь, а валяешься на прелой соломе, обессиленный, в жару, и не моргая, глядишь снизу на крышку ямы — не знаешь, когда крышка откроется и, главное, кто ее откроет на этот раз — старуха, спрятавшая тебя, или враг, уже однажды тебя казнивший. А в яме днем так же темно, как ночью, но человек, оказывается, ко всему привыкает ради жизни, во имя жизни — и к темноте, и к сырости, и к холоду, и к нечистоте, и к страху... ко всему, что и нельзя назвать. И ты уже замечаешь самую незначительную, тоньше волоса, трещинку на подъемном потолке — это он, врата твоей жизни, лишь через них можешь ты выйти отсюда как в этот мир, так и в мир потусторонний, другого пути для тебя не существует, он один связывает тебя как с нежданно-негаданно спасенной жизнью, так и с подстерегающей каждую минуту смертью. Он же — этот потолок-крышка, не дает тебе утратить ощущение времени, так как хоть и редко, но должен непременно открываться, на одну минуту, ровно на столько, сколько необходимо, чтобы спустить сверху хлеб, воду или лекарство. Тебя сразу ослепляет крохотный, четырехугольный обломок дневного света, который падает тебе на лицо, как только приоткроется крышка, с силой и тяжестью оторвавшейся глыбы, и ты нескоро различаешь сперва увядшую, голую по локоть руку старухи, вцепившуюся в крышку ямы, как когтистая лапа какой-то хищной птицы, а потом водянистые ее глаза, влажные от не-

просыхающих слез, свидетелей дряхлости и вестников близкой смерти, и красные, воспаленные ее веки. — «Почему спасаешь меня, я ведь враг тебе, почему не созываешь людей?» — спрашивает ее Вано-учитель, а она, притворно сердясь и хмурясь, пряча по-детски улыбку, протягивала ему сверху стакан со снадобьем, сваренным по собственному рецепту, и не просила, а приказывала ему: «Пей!» В течение целой зимы — а точнее, до самой смерти старухи — она была единственной связью его с внешним миром, от нее одной получал он сведения о происходящем. Но сведения эти были такими скудными, безнадежно устарелыми, утратившими всякую цену, что ничего не давали ему — и ничего у него не отнимали. Старуха рассказывала лишь о том, что одной ей было понятно, чем жила она одна — она едва разбиралась в делах этого мира, потому что ей уже, пожалуй, не было до него никакого дела. Одними лишь воспоминаниями жива была ее душа, она лелеяла в своей памяти неуловимое, недоступное, как могила ее сына, прошлое, и все ее боли, думы и горести увядали вместе с нею на этой могиле.

Сын этой старухи в девятьсот восемнадцатом был в Грузии и там умер в военном госпитале. Но до своей смерти успел написать ей оттуда много писем, в которых рассказывал обо всем, что видел, и старуха, не побывав там, заочно полюбила по письмам сына «Богом забытый рай», как он называл эту страну. А сам он ни о чем другом не думал и не помнил, кроме бед и невзгод этой чужой, далекой, почти нереальной земли. Он запечатлел имя ее в своей душе и поставил себе служение ей жизненной целью. Он даже переводил стихи тамошних поэтов и принялся за описание бесчисленных, как звезды, ее древних храмов и руин ее замков, но подобно не столь уж многим другим друзьям и ревнителям Грузии, и ему не было дано осуществить свой замысел — именно его, и никого другого, унесла внезапная болезнь — брюшной тиф или испанка... «Спасение Грузии и грузин «священный долг каждого благородного человека» — так заканчивал он каждое свое письмо, присланное из Грузии — в ту пору, когда казалось весьма сомнительным, что Грузия сможет спастись, ибо трудно было поверить, что ее оставят в покое старинные враги, уже не раз пробовав-

шие ее сладкого мяса и даже почти наполовину успевшие ее поглотить — а то, что осталось, защищали лишь солдаты, подобные дедушке Нико. — «Бог дал мне возможность исполнить сыновнее завещание», — говорила Ваню-учителю трясущаяся от слабости старуха, вцепившись в крышку ямы рукой, похожей на лапу хищной птицы; да и могла ли она думать по-другому, могла ли не принять за прямое изъявление Божьей воли внезапное появление Ваню-учителя — ведь сам ее сын, погибший четверть века тому назад, разбудил ее в ту ночь — грубо, бесцеремонно толкнул ее в плечо и сказал: «Вставай, встречай гостя: пришел!» И старуха тотчас же вскочила с постели, бросилась к двери, распахнула ее и, как вы думаете, кто стоял за дверью, весь засыпанный, заметенный вьюгой? Грузин! Не кто-нибудь, а именно — грузин, да еще которого нужно было спасать, гонимый, раненый, оборванный, босой, без шапки, замерзший, голодный и, главное, воскресший из мертвых, восставший из могилы в буквальном смысле слова.

Сам он рассказывает, что ждал с нетерпением, когда же встанет на ноги, сможет сдвинуться с места, когда же ему удастся снестись со своими. Потому что предчувствие, ужасавшее больше предстоящей смерти, продолжало терзать его: ни расстрел, ни сырость и холод могилы, ни заботливое участие немецкой старухи не смогли умерить эту жестокую тревогу. И все же он ушел оттуда раньше, чем предполагал, чем счел себя достаточно окрепшим, готовым к тому, чтобы уйти. А вышло так из-за неожиданной (!) смерти приютившей его старухи. Бедняжка внезапно умерла у себя на кухне, едва успев присесть перед смертью. И вот, когда прошло много времени, и крышка-потолок ни разу не открылась над обитателем ямы, он что-то неладное заполозрел, но все же не осмелился сразу вылезть наружу, решил погодить, потому что выйдя из укрытия без разрешения, он, вполне вероятно, мог снова попасть в руки к врагам. А время шло. Вернее, перестало идти, оно вообще не ощущалось во мраке, как бы вовсе уже не существовало; до того, так или иначе, оно сохраняло способность воздействия, подобно выкуренному в темноте табаку. — хотя бы расчлененное на неравные промежутки открывающимся от раза к разу потолком;

но теперь, когда крыша наглухо, бесповоротно закрылась, время утратило свое основное свойство — отмечать и ознаменовывать окончание чего-то или начало чего-нибудь нового. Он ел сопревшую от сырости солому и ждал — не зная, чего. Но когда трупный запах достиг наконец ямы и проник в нее, он выскочил оттуда, как безумный. От одного лишь сознания того, что он Бог весть сколько времени торчал во тьме и томился, дожидаясь помощи от мертвого человека, у него сразу словно выросли крылья. И первой, кого он увидел, выбравшись из погреба, была старуха — она сидела на стуле, сложив руки на коленях. По комнате летали крупные хлопья копоти. Видно, керосинка коптила до тех пор, пока в ней не выгорел весь керосин. А он, едва выбравшись из ямы, тут же, сразу, кинулся к кастрюлям, набросился на кастрюли, озверелый от голода. — «Я чувствовал, — рассказывает он, — я понимал, я знал, что поступаю нехорошо, но в ту минуту я не мог совладать с собой, не мог удержаться». Он даже не смотрел, не разбирал, какая еда перед ним, лишь бы что-нибудь попало в его желудок, где не было ничего, кроме сока гнилой соломы. Он смотрел на мертвую старуху и одновременно соскребывал ногтями со сковородки обугленную картошку. В одной из кастрюль он нашел зеленую от плесени краюху — и съел ее тоже. И все это время не мог отвести взгляда от сидевшей перед ним покойницы. И покойница тоже, казалось, смотрела на него, изумленная его поведением, потеряв дар речи. Серые волосы ее были усеяны черными хлопьями копоти. Немного придя в себя и приглядевшись к старухе, Ваню-учитель заметил у нее на щеке и на шее следы зубов то ли кошки, то ли крысы. Его сразу затошнило, он схватил горшок с затхлой водой, припал к ней, стал жадно пить, проливая воду на себя, но от прелого, теплого питья ему не стало лучше — через минуту он, стоя на коленях среди обломков разбитого горшка, цепляясь обеими руками за край стола, изрыгал со стонами и всхлипами не просто обугленный картофель и хлеб с плесенью, торопливо поглощенные в минуту бессилия и потери власти над собой, а всю желчь, весь яд, скопившиеся за годы в его душе и его сознании, отраву, которой напоила его — силой, хитростью, обманом — сама жизнь, с обычными


ее жестокостью и коварством. Оттуда, с пола, где он увяз коленями в отвратительной, пузырящейся блевотине, ему были видны под столом только ноги покойной — вернее, объединенные вместе с чулками ее икры выше щиколоток — и от этого у него еще сильнее сводило судорогой внутренности, он задышался, выл, стонал еще отчаяннее, но как ни боролся с собой, жмуря изо всех сил и без того ослепшие, обожженные горячими слезами страдания глаза, перед его взором все стояла красно-синяя мертвая плоть, изъеденная гниющими ранами, из которых точилась вязкая жидкость, и сам он, казалось, был весь залит этой жидкостью, стоял в ней на коленях.

Но, как рассказывает Ваню-учитель, самая большая беда ждала его все же дома. Быть может, именно потому еще долго не удавалось ему вернуться домой — словно судьба, перед тем, как нанести последний, решающий удар, медлила из жалости, щадила свою вечную жертву. Вырвавшись из ямы для картофеля, он снова попал в лагерь военнопленных, а оттуда, как человека, много видевшего и претерпевшего, его отправили как свидетеля на нюрнбергский процесс. Но чему, быть, того не миновать, назначенное судьбой должно было неизбежно случиться, и случилось в свой час. Сразу после того, как он, наконец, вернулся домой, заболела внезапно семилетняя его дочка — однажды вечером у нее хлынула носом кровь, и остановить кровотечение никак не удавалось, ничего нельзя было поделать, врачи сказали, что они бессильны помочь, что можно надеяться лишь на чудо, потому что борьба с этой болезнью пока что всегда и везде кончается ее победой, будь то у нас, или в Москве, или в Париже. Но раз доктора помянули Москву, Ваню-учитель бросился с ребенком туда. Если существовала хоть самая малая надежда спасти больную девочку, он, естественно, счел себя обязанным уцепиться за нее, испробовать все средства до конца. Разве он мог поступить иначе? Врачи сердились на себя несказанно — зачем допустили такую глупость, пробудили у него несбыточные надежды. Но с другой стороны, если бы он не поехал тогда в Москву, едва ли не вышло бы еще хуже, он всю жизнь не мог бы простить себе этого, терзался бы всевозможными «может быть» и «если бы». Но до Москвы

девочку довели уже полумертвой. В самолете она дважды чуть не угасла у них на руках, но ценой каких-то немыслимых усилий им удалось вырвать ее из когтей смерти. Лицо ее было изжелта-бледно, подернуто синевой, она с трудом размыкала веки и, не имея силы выговорить хоть слово, вымученно из последних сил улыбалась, чтобы успокоить родителей, показать им, что она еще с ними, еще не умерла. А родители не знали, что они, закинутые в поднебесье, могут еще сделать, чтобы помочь единственной дочери, кому продать душу, к каким господам пойти в рабство, чтобы выкупить жизнь одного безвинного ребенка. — «Что я наделала, почему у меня не отнялись ноги, лучше бы уж она умерла в своей постели», — кусала себе локти мать. А отец вообще утратил способность рассуждать. Зато он всем существом чувствовал, что начинается для него совершенно новая, душераздирающе новая полоса жизни, еще более жестокая и беспощадная, чем минувшая ее часть, и что судьба готовит ему новые, еще большие страдания, так как минувшее, как там ни говори, было более или менее понятно и даже более или менее приемлемо — вместе со всем, что оно принесло, с окровавленной грязью общей могилы, с холодом и затхлой тьмой ямы для картофеля, с вязким соком гнилой соломы — а новая, наступающая жизнь была ему пока совершенно непонятна, ничто не связывало его с нею, кроме внезапной и смертельной болезни дочери. В минувшей жизни он по крайней мере знал, когда как поступать, от кого скрываться и у кого просить помощи. А сейчас он был безоружен и, оглушенный, ошеломленный, смотрел на умирающую дочь, видел, как понемногу испепелялась ее жизнь, как с каждой минутой приближался конец и становилась осязаемой неотвратимая гибель, видел и сидел неподвижно, в бездействии, слыша, как летит следом за самолетом смерть — с шелестом крыльев, с шипеньем и свистом. И он, прошедший через адское пламя, тысячи раз расстрелянный, тысячи раз высвободившийся из петли, сидел без единой мысли в голове, и ничего не говорило ему сердце, ничего не подсказывал инстинкт. Он боялся только одного, — чтобы с самолетом не случилась авария, как будто потом, на земле все могло само собой решиться, и притом непременно в пользу его

дочери — ведь он до тех пор даже и в мыслях не допускал, что она тоже подвластна смерти — она, эта девочка, для которой он жил, ради которой он сам не смирялся со смертью и не покорялся смерти, которую ему достаточно было, даже в самую последнюю минуту, лишь представить себе, чтобы мгновенно воскресла в нем жажда жизни и прибавилось ему жизненных сил.

В больнице девочка прожила еще два дня — и оба эти дня, тяжелейшие, жесточайшие, но в то же время удивительно насыщенные жизнью, емкие, изменчивые, полные разнообразных сомнительных, не внушающих веры мыслей, дум, мечтаний, рождавшихся и исчезающих, менявшихся и рассеивавшихся, оба эти дня все трое были слиты как бы в одно существо. В маленькой палате, где стояла только одна кровать, мать и отец поочередно отгоняли от больной налетающего ангела смерти; пока одна сидела около постели девочки, другой метался по лестничной площадке, как волк в клетке, или, присев перед дверью лифта и прислушиваясь к звукам вокруг себя, в страхе, как бы кто-нибудь не застал его и, рассердившись, не прогнал отсюда, негромко по-волчьи выл, не разжимая рта. Но в отличие от волка человек никогда не знает точно, кому (или чему) мстить, с кого требовать ответа. Зато, если у волка недолгая память и он быстро забывает свои несчастья, то человеку суждено доживать всю оставшуюся жизнь с поразившим его горем, которое ему не дано забыть, потому что память — это кара, установленная природой за неведение, за неосознанность, за непонятливость. А если разразится над ним гнев Господень и он забудет — то это уже будет вестью о всеобщей беде и, в первую очередь, знаком перерождения, вырождения человека. Ваню-учитель, разумеется, не помышлял о мести, так как был во всех смыслах обыкновенным человеком и не знал, кому он должен мстить, кто перед ним в ответе. Возможно, все человечество заодно было виновно в том, что существовала такая болезнь, — но ведь ни на кого поотдельности он не мог бы указать, никого не мог бы назвать убийцей своего ребенка. Он стоял на лестничной площадке и курил папиросу за папиросой, чтобы отбить внезапно возникший во рту отвратительный вкус смерти. В эту минуту вышел на площадку из коридора врач, взял его дружески, по-домашнему под руку и предложил



спуститься ненадолго в сад, прогуляться. Ваню-учитель сразу догадался, что предвещала ему душевность врача, но удержал рвавшиеся с языка слова: — «Зачем нам идти в сад, скажите уж здесь, не тяните, каковы мои дела». И, вполне понятно, растерялся — закаленный, прошедший через столько допросов и пыток человек, он разволновался, всполошился, как ребенок, хотя давно уже понял, что на благополучный исход не было никакой надежды. Он погасил папиросу о лестничные перила, завернул раздавленный окурок в обрывок газеты, положил его в карман, потом сдул прилипший к перилам пепел и, с колотящимся сердцем и дрожью в коленях, спустился вместе с врачом в больничный сад. Как будто в саду легче было выговорить и естественнее могло прозвучать то, что врач не осмелился сразу ему сказать и к чему он хотел его подготовить. А между тем обоим все было ясно и без того, и они лишь обманывали себя, по-детски простодушно закрывали глаза, отворачивали взор от беды, как будто, зажмурившись, сами могли стать невидимыми врагу. Врач усадил Ваню-учителя рядом с собой на голубую садовую скамейку и для начала предложил ему папиросу. Сам он много курил и громко икал после каждой затяжки. — «Люблю, когда дым обжигает нутро», — сказал он беспечно, голосом отдыхающего без всяких забот в саду человека, вслед за очередной икотой — как будто ему больше нечего было сообщить собеседнику и он спустился в сад лишь для того, чтобы размяться. Ваню-учитель подхватил тему, заговорил о табаке, пустился в рассуждения о том, какой сорт табака самый лучший — но в душе, потерянный, пришибленный, убитый, думал: «Неужели я столько раз спасался от гибели для того, чтобы пережить еще и это?» — Между тем перед их скамейкой прошла стайка девочек. Они без умолку щебетали о чем-то своем, возбужденные, взбудораженные, занятые своими детскими заботами. Девочки вывели на прогулку кукол — игрушечные мамочки игрушечных дочек. Врач показал рукой на них и сказал: «Эти девочки все обречены. Ни одна не выйдет отсюда». И, словно в подтверждение его слов, на том самом этаже, где лежала дочка Ваню-учителя, внезапно со звоном разлетелось оконное стекло и взволнованная медсестра, вывесившись чуть ли не всем телом из окна, закричала истошным голосом: «Держите!

«Не пускайте! Украли мертвого ребенка!» — Голос медсестры с зловеще сверкнувшими кусочками стекла, наподобие оборвавшейся ледяной сосульки, со звоном обрушился, разлетелся на мельчайшие осколки, рассеялся в мирном больничном саду, наполненном щебетом обреченных детей и глупеньких беззаботных птичек. На мгновение еще напряженнее застыла пропитанная разнообразными кухонными и аптечными запахами тишина, но потом, через секунду, вся огромная больница вместе с садом вдруг взорвалась голосами, всполошилась, засновала, зашумела, заволновалась, как подоженный улей. Где-то несколько раз подряд хлопнула дверь, откуда-то донеслось частое шарканье шлепанцев, в верхнем этаже пронзительно, леденящим душу голосом закричал ребенок — так, словно ему под одеяло подбросили мышь. — «Держите!» — «Ловите!» — «Не пускайте!» — «Похитила!» — кричали, голосили стены, коридоры, палаты, тропинки и аллеи сада, но никто не знал толком, кого надо ловить, кто кого украл или похитил. Перепуганные этим неожиданным переполохом дети (обреченные) и не менее перепуганные их родители, родственники или просто сиделки и нянечки, окаменев, как изваяния, застыли в разных уголках сада, там, где застигла их тревога. Ваню-учитель говорит — «Сердце мое сразу почувствовало, что со мною стряслась беда». С трудом добрался он до палаты. На лестницах было полно народу, больные, врачи, посетители, ухаживающие толпились в коридорах. Но ни умирающего ребенка, ни жены Ваню-учитель не нашел в палате. Только белый в горошек головной платок валялся на полу, около ножки кровати, по-видимому, оброненный женой, когда она второпях одевала мертвого ребенка и все ее внимание было приковано к дверям палаты, так как она боялась, что кто-нибудь застигнет ее... Нет, не просто кто-нибудь, а он, ее муж и отец ее ребенка. Когда медсестра увидела его, то раскричалась еще пуще: «Что вы сделали, вы погубили меня! Как вы решились выкрасть мертвого ребенка?!» — «Не был мой ребенок мертв!» — крикнул Ваню-учитель в ответ медсестре. Но та все твердила свое: «Я пропала, меня уволят, у меня украли мертвого ребенка!» Не был он мертв — и сейчас утверждает Ваню-учитель, но провалились ли его жена и его дочка сквозь землю или вознеслись на небо, а следов их

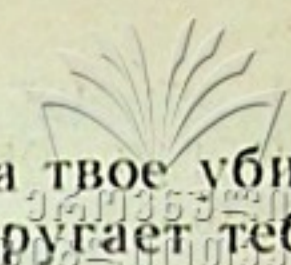
он не мог найти. — «Кто мне их дал, тот и отнял», — говорит он иногда, и лицо его озаряется каким-то нездешним, неземным сиянием. Он испытывает к жене только благодарность, ибо убежден, что она поступила так лишь ради него одного. Его, столь жестоко, беспощадно истерзанного судьбой, она одна пощадила — как могла, как умела, — решила, что довольно с него перенесенных страданий и избавила от зрелища смерти дочери. А вместо нее, вместо дочери, оставила лишь пустую надежду. — «Точно сунула погремушку в руку капризному ребенку», — говорит Вано-учитель.

А сейчас он, как ни в чем не бывало, кашлянул, прикрытый газетой, и сказал Нико: «А ну-ка, расскажи, что там с тобой приключилось у старой церкви?»

Он даже не опустил газету, не поднял от нее головы, словно пришел только для того, чтобы ее прочитать, и лучшего места для этого нигде не мог найти. Он сидел, заложив ногу на ногу, и на кончике его ботинка играл отблеск огня — казалось, на ноге у него сидела большая желтая бабочка.

— Меня ведь убили... Вы не знали? — ответил Нико вопросом на вопрос и потянулся под одеялом так, что у него задрожали икры.

— «Меня убили», — передразнил его Вано-учитель. — Велика важность! Вот и меня расстреляли, и однако я жив. Что, жив я или нет? Как ты думаешь? — взглянул он на Нико по-над газетой, на мгновение приспустив ее. Нико кивнул ему в знак согласия и почему-то закрыл глаза — как отец. И тотчас же увидел перед собой усеянное каплями пота лицо отца с закрытыми глазами — и сразу успокоился, словно беглец, добравшийся наконец до безопасных мест. Ему нравилось лежать вот так, как его отец, и в то же время его распирало любопытство, было необычайно интересно, обратит ли на это внимание, удивится ли Вано-учитель, спросит ли себя — почему этот мальчик лежит, закрыв глаза. — Меня даже похоронили, а я все же хожу по земле, — продолжал тот, снова уткнувшись в газету, словно не беседовал с Нико, а читал ему, знакомил с газетными новостями. — Знаешь, почему? — Вдруг разволновался он, опустил руки на колени — зашелестели примятые газетные листы. — Они не сумели убедить меня, что имеют право меня убить. Убивает не пуля, а право. Вот почему враг



всячески, всегда старается обрести право на твое убийство, вот почему насмехается над тобой, ругает тебя, унижает в чужих глазах, распускает о тебе сплетни, обвиняет во всевозможных мерзостях, и только потом наводит на тебя ружье: он хочет, он должен сначала убедить тебя самого, что ты никому не нужен, ни на что не годишься, что твоя смерть будет даже благом. Совсем, как вы, мальчишки, ругаетесь перед дракой: а вот я тебя, трус, девчонка, засранец! И если ты в самом деле немного трусоват, то можешь и поверить, что ходишь под себя, и что ты хоть и мальчик, но и девочка, как Лео. Ну, а поверить — значит погибнуть. Раз ты сам оправдываешь свою смерть — не замедлит наступить роковое мгновение. Ну, а потом уж ничего не стоит выкорчевать тебя с корнем: дернут разок, и выскочишь из гнезда, как гнилой зуб. Только это — иная смерть, рядом с ней обычная, для всех обязательная кончина — ничто. Тут ты не умрешь, а исчезнешь без остатка, без следа, и не ты один, а все твои близкие, весь твой род в полном составе — и живые, и мертвые. А поэтому ты никогда не должен попадаться на удочку врага. Между прочим, ее легко можно узнать среди мириад других удочек, такая она старая-престарая, проржавленная насквозь. Еще Помпей ловил этой удочкой рыбу в Куре, со своего, им самим построенного моста. Но ты все равно не должен верить, что достоин смерти, пока этого не скажет тебе свой, близкий человек, по-настоящему твой доброжелатель (Нико снова представилось усеянное каплями пота лицо отца и его закрытые глаза, и к своему удивлению, в ноздри ему ударил запах холодной, как бы подернутой белым инеем котлеты). Ты и не дашь себя убедить, если в тебе есть вера и если ты тверд, как... что может считаться символом твердости, непоколебимости? Наковальня из воска, картонный щит, грушевая пушка... Не смейся, в этом именно и заключается вера — она позволит тебе выковать меч на восковой наковальне, защититься картонным щитом от вражеского меча, она в последнюю минуту подсобит тебе грушевой пушкой, и если ты не сможешь уничтожить врага раз и навсегда, то хоть испытаешь ненадолго прилив бодрости. Так что, если ты обладаешь верой и твердостью, то Помпей не только не уничтожит тебя, а напротив, при-

бавит тебе силы, воспитает тебя, закалит. А закрыть глаза это преступление...

— Но если я боюсь? — прервал его вдруг Нико неожиданно для обоих и, досадуя на себя за это, еще крепче зажмурил глаза.

— Тем более, — немедленно ответил Вано-учитель, как будто он ожидал этого вопроса. — Тем более, так как именно страх есть отец всякой неопределенности. С закрытыми глазами ты не можешь выяснить то, что неясно. Глаза надо раскрыть широко, до конца. Глаза у тебя для того, чтобы держать их раскрытыми! — почему-то разгорячился Вано-учитель, как, бывало, в школе, когда он объяснял новый урок. — Для зрячего мир более прекрасен и менее опасен, — заключил он, возбужденно, на высокой ноте, и снова уронил руки вместе с газетой на колени, словно готовясь уйти.

— Я ведь в самом деле умер, — разгорячился Нико, испугавшись, как бы его гость не ушел в самом деле; однако глаз он все-таки не открыл. — Тетя случайно облила меня лекарством и этим привела меня в себя, не то бы... — протянул он как прежде с притворной беззаботностью.

— Знаем, сударь, знаем и это, — не дал ему закончить Вано-учитель. — Рассказывала нам ваша тетушка. Будто бы ты и мою дочку видел... Что тут скажешь! Хоть ты и угасил во мне последнюю надежду, но так лучше. Человек всегда должен знать правду. Если ты не знаешь правды, то ты и не человек, точно так же, как ты не можешь называться пловцом, если не умеешь плавать. Ладно, сударь мой. Давай теперь немножко поупражняем ум, чтобы он не заплесневел у нас в досгели. Чтобы все реакции мозга были нормальны и память работала как надо. Когда знаешь, кто такой был Помпей, то не спутаешь его с папой. Хотя, впрочем, Помпей и папа начинаются оба на «пэ». Ну-ка, назови мне выдающихся людей, чье имя начинается на «пэ».

— Помпей, — сказал Нико.

— О нем мы уже говорили, — нахмурился Вано-учитель. — Впрочем, это тебе в упрек не ставится, — продолжал он, все так же хмурясь. — В конце концов он был одним из первых, изначальных. А все первое, начальное, все равно печаль или радость, оставляет о себе приятную память — как в человеке, так и в народе.

— Петр Первый, — сказал Нико. Ему было смешно, и он закрывал лицо одеялом.

— Правильно. Еще? — заинтересовался Вано-учитель, словно и этого не ожидал от ученика.

— Пипин Короткий, — не задержался с ответом Нико.

— Хорошо! А ну-ка, вспомни еще кого-нибудь! — Складки на лбу у Вано-учителя разошлись.

— Печорин.

— Нет! Это литературный герой. История такого деятеля не знает, — снова нахмурился Вано-учитель.

— Тогда Паганини, — сказал Нико из-под одеяла густым от сдерживаемого смеха голосом.

— Прекрасно, — обрадовался Вано-учитель. — Заплачет скрипкой профиль Паганини... так, не правда ли? Закроет мне закат его щека... Что хорошо, то хорошо. Говорят, у поэтов черные кости. Наверно, потому их съедают живьем — не терпится людям, интересно узнать, какого цвета у них кости. Ну, раз так, то назови мне еще какого-нибудь писателя на «пэ».

— На «пэ»?

— Да. Именно. На «пэ».

— Писателя, — задумался Нико. — Грузинского или вообще? — спросил он уже с явным интересом.

— Вообще, — пробурчал Вано-учитель, уткнувшись в газету.

— Пэ-пэ-пэ-пэ... Панаит Истрати! — обрадовался Нико.

— А еще? Больше никого не припомнишь? — спросил газету Вано-учитель равнодушно, без интереса.

— Панаит Истрати, — повторил Нико, неожиданно взволновавшись, наверно, от того, что вспомнил свою любимую книгу, чуть ли не всю, от начала до конца. Вспомнил, как плывут трое по реке. Девушка и двое парней. Она любит одинаково обоих. Не может выбрать между ними. Потому и провалилась, наконец, в канаву. В темную канаву. А те катают маленькую тачку с апельсинами по городу и кажется им, что ищут детство. Дураки! То, что отдаешь по своей воле, никогда уже не вернешь.

— Такого писателя я и не знаю, — спокойно сказал Вано-учитель. — К тому же, Панаит наверно имя, а не фамилия. Тогда чем провинились Пармен Лория или Пантелеймон Чхиквадзе? Но оставим это. Что ты ска-



жешь о Прусте? Пруст, Паскаль, По, Платон, Петрарка... Пушкин, наконец! — Он медленно, неторопливо сложил газету.

— Чего не знаю, того не знаю, — признал свое поражение Нико и, уже остывший и утомившийся, по-прежнему замер неподвижно под одеялом.

— Это еще не преступление, — сказал Ваню-учитель и с трудом закинул сложенную газету в пиджачный карман. — Плохо, когда ты не знаешь, и тебя несколько не волнует твое невежество. И совсем уже тяжкое преступление, когда, несмотря на это невежество, ты твердишь, что все знаешь. Ну вот, а это тебе от меня на память, скорее, впрочем, за желание и охоту, чем за знания, — добавил он вдруг и показал большим пальцем правой руки назад, через плечо.

Нико посмотрел в ту сторону и, Боже милостивый, что же он увидел! Лимонное дерево — в своей деревянной кадке, цветущее и увешанное плодами, в сияющем бело-желто-зеленом наряде, оно стояло в углу, затаив дыхание и насторожившись, как ребенок, играющий в прятки, и как бы дожидалось, что скажет и как поступит при виде его Нико. А Нико сначала изумился, потом растерялся, потом пришел в восторг и не то что сел в постели — чего минуту назад и в мыслях не мог допустить, — а вскочил с нее, словно обезумев. Он стоял босой на ледяном полу и свисающим с плеч одеялом прикрывал потную грудь. — «Ложись! Ложись, а то убьют меня твои родные!» — смеялся не менее взволнованный Ваню-учитель. В волнении он стянул с пальца кольцо, но так как сидел на этот раз не за учительским столом, а около раскаленной печки, то не знал, что с ним делать — покатавать его по печке, как обычно в школе по столу, или снова надеть его на палец.

Дерево он, должно быть, привез на подводе Иосебы. И внести кадку сюда помог ему, наверно, тот же Иосеба. Небось извел бабушку шутками — вот, мол, доставил к вам на дом невесту, магарыч за вами, — но Нико ничего этого не слышал, он крепко спал, он весь ушел в свои видения и грезы; а сейчас смотрел с раскрытым ртом на самое изумительное видение, на самого желанного гостя, какого только он мог вообразить, и притом явившегося не во сне и не в грезах, а наяву, в самой что ни есть осязаемой действительности.

— Вы?.. Вы?.. Как же вы?.. — восклицал он бес-
связно и растерянно, восхищенный красотой дерева и
потрясенный щедростью учителя.

Но Ваню-учитель прекрасно понимал, что хотел ска-
зать ему Нико, и с притворной беззаботностью отвечал:
«Ничего не поделаешь, таков, видимо, удел всякого отца
— разлука с дочерью; здесь ее место и, надеюсь, ты
лучше будешь за нею смотреть». А лимонное дерево си-
яло, сверкало, смеялось и рассыпало белые цветы с зо-
лотой сердцевинкой, обрадованное столь радушным прие-
мом.

Этот неожиданный, великолепный подарок совсем ли-
шил Нико покоя. О чем бы он ни думал, стоило ему за-
слышать тишайший шелест дерева или уловить чуть за-
метный, словно нарочно сдерживаемый его аромат, как
он мгновенно переворачивался в постели, чтобы взгля-
нуть на него, удостовериться, что оно в самом деле
здесь, что оно — действительность, а не игра его вообра-
жения. У него было такое чувство, как будто в доме за-
велся гость, желанный гость, очаровательное существо,
которое своей непривычной внешностью и своими нео-
бычными повадками не только приковывало к себе об-
щее внимание, но и вызывало во всех напряженное чув-
ство робости и почтения. Бабушка с ног сбилась, ухажи-
вая за ним, лелея это сокровище. Нико она совсем забро-
сила. Она была не просто взволнована этим чудесным по-
дарком, но и немного испугана, — а вдруг она не смо-
жет обеспечить ему такой уход, к какому оно было при-
учено в своем прежнем доме, — словно Ваню-учитель
не дерево подарил им, а поручил живого, нежного ре-
бенка. Разумеется, она проводила Ваню-учителя за дверь,
рассыпаясь в благодарностях, но когда вернулась в дом,
то опустилась на стул чуть ли не в отчаянии — Боже,
что с этим деревом делать, как управиться с таким ог-
ромным растением? А дерево, как воспитанный, вежли-
вый ребенок, безмолвно ждало, какое решение примут
его новые хозяева — понравится оно или нет, приютят
его или откажут ему от дома, выставят за дверь в эта-
кую стужу. Бабушка волновалась, нервничала и так, в
волнениях и тревогах, пыталась «найти общий язык» с
укрывшимся под ее кровом деревом. То она лелеяла и
ласкала его, словно оно в самом деле было порученным
ей ребенком, то растроганно умилялась, лила над ним

слезы — жалела его, такое красивое. такое изысканное. Но о чем бы она ни беседовала с деревом, заканчивала она разговор непременно одним и тем же: ругала на чем свет стоит Иосебу, которого считала виновником всей этой незадачи. — «Убить его мало, приволок сюда на своей подводе эту сиротку, так что теперь мне греха не избыть!» — А тетя при виде дерева надолго потеряла дар речи. Вернувшись с работы, весьма расположенная сцепиться по какому-нибудь поводу с домашними, она, едва войдя в дом, застыла на пороге и, проглотив язык, глядела на сдержанно, стыдливо, но волнующе рассиявшееся диво. Бабушка, с веником в одной руке и совком в другой, невесть которой раз подметала пол вокруг поlyingающего дерева. — «Работы на одного человека — по верх головы», — пожаловалась она дочери. — «Ну, что ты такое говоришь!» — рассердилась на нее дочь. А дерево, как действующий вулкан, непрерывно выпускало из своего пылающего лона нежные, прозрачные цветочки с желтой середкой и, казалось, все какие были бабочки на свете, слетелись сюда, в дом родных Нико.

— Не взять бы нам греха на душу, — все старалась привлечь бабушка на свою сторону дочь.

— Что ты говоришь, мама, ну что ты, право, такое говоришь, — бессвязно повторяла та, все еще ошеломленная, все еще не в силах оторвать взгляд от дерева.


— Ладно, придет твой отец, пусть он и решает, — не могла успокоиться бабушка, как будто она не успела уже сама полюбить это цветущее чудо, как родное дитя, и как будто она согласилась бы отдать его кому бы то ни было по своей воле.

— Какое оно красивое, Боже мой, и как его жалко, — говорила тетя.

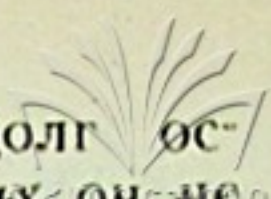
А Нико следил из своей постели за всем этим кипением страстей и его распирало от гордости — словно он один был виновником того, что вообще существует в природе подобное диво.

Между тем подарок учителя не только обрадовал Нико, но и заставил его крепко задуматься, оказался для него поистине головоломной загадкой; и как он ни

старался, однако не мог понять, выяснить для себя — соблазнили его или дурачили, воодушевляли, поощряли или подавляли и обескураживали. В самом деле, зачем Вало-учителю понадобилось отдать именно это лимонное дерево, «замену» своей дочери, которое было ему дороже самого себя и которое он лелеял как зеницу ока, подарить его именно Нико, всего лишь, в конце концов, рядовому своему ученику. Правда, Нико любил историю и, по сравнению, например, с Вало Бадалашвили, знал ее, но почему требовалось его за это одаривать, и притом столь странным образом, именно что странным — потому что теперь он уже не мог ни стряхнуть с себя грезы, ни избавиться от мыслей; горячечный бред и сонная неразбериха были пустяками рядом с путаницей, царившей теперь в его голове. Но только наяву все это происходило или во сне, а ему очень, очень хотелось оказаться достойным полученного подарка. Разумеется, найти оправдание для любого своего недостатка (как это он делал и раньше) ему нетрудно было и сейчас, но с оправданным или даже дозволенным недостатком он мог бы (так он думал сейчас впервые) выпросить у других самое большее жалость или милостыню, да еще сдобренные презрением и насмешкой, но только не подарок. А он хотел именно подарка, притом заслуженного, и, должно быть, потому и переживал так остро все происшедшее, что впервые в жизни ему вообще что-то подарили. До сих пор никому до него не было никакого дела и никому не приходило в голову сделать ему подарок. Ведь дарение — это не только проявление минутного внимания или отдача того, что есть у тебя сейчас, но что другому нужнее, чем тебе, нет, это прежде всего — желание утвердить и перенести в далекое будущее свои упования, чувства или просто намерения, и основываться оно может лишь на убежденности и доверии. И поэтому Нико терзался, мучительно напрягал свой ум, ища путь и способ немедленно избавиться от всех своих недостатков, очиститься от невольных или содеянных по неведению грехов и стать одинаково одобряемым всеми. Это желание было новым для него, оно впервые в нем родилось сейчас — во всяком случае, до сих пор он никогда не держал ничего похожего в мыслях, никогда до сих пор не хотел так болезненно, так мучительно, так необоримо изливать добро на всех без



различия, на врагов и друзей — быть не только мамочкиным сыночком, а хорошим сыном, хорошим внуком, хорошим племянником, хорошим другом, хорошим товарищем, хорошим учеником и, главное, просто хорошим малым, хорошим парнем, именно парнем, мальчиком, а не тем и другим, наподобие некоторых. Но при этом он больше всего (хотя и сам не мог бы, сказать почему), боялся, как бы его не произвели в товарищи Гогия, как бы кто-нибудь не сказал: «Чем он лучше Гогия, если тому не полагается награды, так отчего этому полагается подарок, ведь когда Гогия убил человека, этот там был, отчего он не остановил Гогия, не помешал человекоубийству?» Ведь если ты свидетель какого-нибудь дела, будь то убийство или свадьба, то ты отчасти и участник его, потому что... потому что, как говорит Ваню-учитель, очевидец преступления и сам совершает преступление, кто присутствует при воровстве, и сам отчасти вор, свидетель разврата и сам отчасти развратник и, следовательно, свидетель убийства и сам отчасти убийца, ибо если ты знаешь, что как делается — то все равно, как если бы ты сам это сделал. Быть может, это все и так, но приравнять Нико к Гогия, право же, было бы большой несправедливостью, и он, Нико, предпочел бы немедленно убежать на холод и застудить себя, чтобы вернулось воспаление легких и убило его, нежели допустить, чтобы у кого-нибудь родилась такая мысль о нем. В конце концов, Гогия сам требовал себе награды, платы за убийство, он и его мать обивали пороги милиции и исполкома, а Нико никогда и в голову не приходило, что Ваню-учитель может подарить ему свое лимонное дерево, он и мечтать не смел об этом, хотя тот, казалось, питал к нему отцовское чувство (сверх, конечно, бескорыстной и непоколебимой дружбы). И поэтому Нико должен был в первую очередь именно ему доказать, что он хороший, что у него нет ничего общего с Гогия и что он заслуживает подарка — не только за охоту и желание, но и за знания. К сожалению, он был еще болен, его еще лихорадило и пока что он осуществлял свое твердое решение по-прежнему лишь в тревожном полусне, лишь в грезах и видениях. Но решение было принято непреложно: он намеревался изучить, постигнуть, осмыслить, познать все то, что ему как внуку своего деда, сыну своего отца, наконец, как ученику



и другу Ваню-учителя, попросту вменялось в долг ^{ос-}мыслить, изучить, постигнуть, познать. В мыслях ^{он не} выпускал книг из рук. С жадностью изголодавшегося человека поглощал он в мыслях непройденный в школе, пропущенный из-за болезни материал. И не просто старался он, как раньше, выяснить, опередили его другие или он отстал от других, а с головой зарывался в книги, как крот в свое подземелье, не выпускал книг из рук ни на минуту — и притом не таких книг, как, скажем, «Хохлатый тростник», а учебников, так как сначала должен был выяснить для себя, чего он стоит, что он представляет собой, а потом уже приобщаться к чужим испытаниям и плакать чужими слезами. Он сидел — в мыслях — один-одиношенок среди множества пустых школьных парт, склонившись над учебниками, и поглощал их — потому что иначе они поглотили бы его живьем, со всеми потрохами. Ему было трудно даже перелистывать страницы с пропущенным материалом, а не то что читать, а тем более, учить и усваивать их, влитывать в плоть и кровь, хотя бы для того, чтобы не путать Помпея с папой. Правда, он отстал от всех из-за болезни, но тем не менее все ведь ушли вперед! И вот он сидел теперь один между рядами пустых парт, среди пропахших сыростью стен, отстающий ученик, оставший от всех и от всего, споткнувшийся о протянутую проволоку невежества в ночи нерадивости и лентяйства, запутавшийся в мокрой траве несознательности, неясности... Ему довелось однажды в батумском парке подобрать с земли перепелку со сломанным крылом, и трудно сказать, у кого сильнее колотилось сердце, у птицы — от страха, или у него — от радости. А теперь он сам в беде, такой же, как та перепелка — на радость другим, на радость таким, как Евгения Дугладзе, и поделом ему, потому что надо было не в разбойники идти, или, скажем иначе, не убегать от несправедливости, а учиться еще лучше и злорадно смеяться над несправедливостью. Убегая в разбойники, льешь воду на мельницу всех Дугладзе, позволяешь им еще высокомерно заявлять: «Мы не допустим, чтобы школьники писали стихи и думали о любви». И поэтому он должен назло Дугладзе учиться, хорошо учиться, набраться знаний, стать образованным, иметь собственное мнение обо всем и, главное, уметь высказать это свое

мнение, понимать различие между наградой и подарком — во всяком случае, не убивать ради награды и не каяться ради подарка. Не ругательные письма, не письма с угрозами должен он посылать оскорбителям, как уже сделал однажды, а спокойно, отчетливо, убедительно объяснить, доказать, что любое стихотворение, даже совсем по-детски наивное и беспомощное, есть прежде всего выражение человеческой печали или радости, рожденных ими мыслей, чувств, стремлений, переживаний, и, в первую очередь, свидетельствует о человеческой сущности автора, а потом уже о его таланте или бездарности. Но как бы ни было бездарно стихотворение, ни одно животное все же не может его написать, тогда как разорвать тетрадку со стихами способен не только человек. И вот, сидит Нико среди множества пустых парт, уткнувшись носом в учебники. Однорукий скелет уставился на него пустыми глазницами — как бы сочувствуя ему. А глобус на шкафу накрыт сегодня почему-то его шапкой. «Искатель знания, учись... Учись. Учись. Учись», — с каких уже пор зовет, вразумляет его из дальних земель, из-за гор и равнин похищенный некогда поэт, — но до сих пор Нико, как многие другие, притворялся глухим или, впустив наставление в одно ухо, выпускал в другое. — «Если невежество не так уж удручает тебя, то не надо насилия над собой», — говорит ему Ваню-учитель, катая по столу снятое с пальца кольцо. Такая у него манера: объясняя урок, снимет с пальца кольцо и пустит его катиться по столу, словно надеясь, что оно покатится, покатится и когда-нибудь приведет своего владельца к потерянным жене и дочери. Но кольцо движется по кругу неуверенно, покачиваясь и наклоняясь, словно катится впервые в жизни; через несколько мгновений оно замедляет ход, потом еще с минуту вертится на месте и, слабо звякнув, падает на бок. В классе стоит такой тяжелый, прелый запах, что в нем можно сидеть только в противогазе. Было бы кому об этом позаботиться! Но для школьника иного пути нет, путь школьника — это путь мучений. Мучается поэтому и Нико. Вместо того, чтобы лежать в постели — сказал же доктор, что сейчас необходима особенная осторожность, — он сидит в классе в одном белье и весь дрожит. Так холодно, что трясется и трещит даже однорукий скелет. А он, Нико, поглощает учебники один за

другим. Он уже наглотался знаний настолько, что у него от них отрыжка, он бьет себя кулаком по груди, но учебников не становится меньше, и у него в голове не прибавляется больше никаких знаний. Он сыт по горло одними и теми же «блюдами» — Египтом, Грецией, Римом, средневековьем... Разумеется, все это хорошо знать, но, по-видимому, это не играет решающей роли для его личного существования. Поэтому он ничего не обретает и не может обрести, прежде чем он не доберется до истоков своей собственной души, своей судьбы, своего жизненного пути. Сначала ему следует узнать то, что для всего остального мира, быть может, и не имеет никакого значения, но для него самого является неоценимым богатством: почему его дедушка есть именно его дедушка, почему его отец есть именно его отец, и почему он сам есть именно он, Нико. Закономерно все это или случайно, счастье ли это или несчастье, достоинство или позор. Разве не в высшей степени интересно выяснить, например, почему ты есть ты, а не кто-нибудь другой? Впрочем, выяснение этого необходимо еще и потому, что над всей твоей семьей, над всем твоим родом, над всем твоим племенем, над всем твоим народом, в отличие от остального человечества, тяготеет особый, собственный его грех — отцеубийство, и поэтому от вас всего требуется в неизмеримо большем количестве, чем от остального человечества, всего — терпения, выдержки... и знания! А ты не знаешь еще ничего, кроме Пунических войн, Помпея и крестовых походов. А это ведь ничто по сравнению со своей историей, с событиями собственного, в высшей степени личного жизненного пути, так как только это, собственное, частное, личное оправдывает и утверждает твое и именно твое существование, и поэтому без этого, собственного, личного, тебе нет никакого дела до всего остального мира.


«А ты хоть знаешь, что значит название «Сигнахи»?» — спрашивает вдруг Вано-учитель; на плечах у него накинута отвоевавшаяся шинель, видимо, он тоже зябнет. Он снимает кольцо и пускает его по столу. На безымянном пальце у него явственно виднеется бледный след от кольца.

— Сигнахи? — переспрашивает Нико; он никогда не задумывался об этом.

— Именно, именно, Сигнахи, — почему-то выходит

из себя Ваню-учитель. — Поди теперь, делай такому неучу подарки! — говорит он кольцу, которое уже вертится на месте. — Сигнахи означает то, что ты ищешь, что все мы ищем, и ты, и я, и все, все... Сигнахи — по-турецки убежище, — заключает он уже спокойно, обычным своим голосом.

Нико знал это, только забыл. Сигнахи всегда был убежищем. Во время вражеского нашествия крестьяне из всех окрестных сел сбегались сюда, укрывались в крепости — все до одного, с женщинами, детьми, со скотиной. Однажды, когда они ворвались в ограду и уже заперли ворота, какая-то женщина из Магаро вдруг схватилась за голову, ударила себя кулаком по щеке: «Ребеночка я позабыла в люльке, пустите меня, я хочу там умереть!» — кричала она и бросалась во все стороны, билась о стены, потрясенная, обезумевшая от горя. Никак не удавалось ее удержать, успокоить — и когда уже решили выпустить ее из крепости, воины на крепостной стене вдруг закричали: «Колыбель везут!» Все тут бросились на стены и что же видят — какой-то лезгин, гарцуя на стройном коне, приближается по дороге. А на седле у него люлька. Одной рукой он придерживает колыбель — крепко, надежно, так что только погремушка раскачивается часто и быстро, влево-вправо, влево-вправо, а другой натягивает повод, и конь, жуя узду, брызжет пеной изо рта, выгибает шею и смотрит куда-то вбок, словно отводит взгляд от Сигнахи, стыдится толпящихся на крепостной стене людей. И приплясывает на пыльной дороге. У всадника написано на лице, что он не с враждебными намерениями явился сюда, под стены крепости. Одна щека его, от брови до подбородка, пересечена шрамом — это след от сабельной или кинжальной раны. Но он не хмурится, а улыбается. — «Спустите веревку, заберите своего пискуна!» — кричит он защитникам крепости. Крепостная стража торопливо спускает веревку. Лезгин привязывает люльку к веревке, затягивает двойной, тройной узел, дергает несколько раз за него, чтобы убедиться в его надежности, и лишь после этого отпускает колыбель, которая медленно, покачиваясь, уходит вверх, к ожидающей на стене матери. Люди на ограде не знают, как себя держать — то смотрят вниз, на лезгина, то уставятся друг на друга. Верят и не верят в чудо, рады — и не рады



признать доброту врага. — «Почему ты вернул нам ребенка?» — кричали они лезгину. Лезгин улыбается, рукояткой плети отталкивается от шершавой крепостной стены, чтобы не наткнулся на нее его строптивый, неумный скакун. — «Мало вас осталось, жаль таких хороших людей истреблять с корнем», — кричит он в ответ удивленным, настороженным, улыбающимся людям.


«Ты все выдумал!» — вскидывается иногда, слушая Нико, Вало Бадалашвили, точно не все равно, кем выдумана рассказанная ему история. Разве не все истории придуманы кем-нибудь? — «Хочешь верь, хочешь нет», — коротко отрезает обычно Нико, чтобы еще больше разжечь любопытство своего слушателя. Они сидят на крепостной ограде и смотрят, как полководцы, на войско диких гранатов, что с времен Адама обложило и держит в осаде крепость — эти войны сами не помнят, с каких пор они обосновались здесь навсегда, не помнят, откуда пришли, — и поэтому им некуда уйти, и времени у них впереди хоть отбавляй, и время это для того им и нужно, чтобы курить здесь свои красные кальяны и спокойно, без волнения, с чисто азиатским терпением дожидаться, когда рухнет последняя крепостная башня. Между прочим, население Сигнахи не размножается, как в других городах и селах, а сменяется, как гарнизон в крепости. Из всех старых крепостных правил и обычаев Сигнахи сохранил это одно: одни уходят, другие приходят им на смену, — кто отвоевался — тому на отдых, кто отдыхал — тому воевать. Для лишних, сверх этого, людей и не остается места, потому что с самого начала не дали городу разрастись, укорениться, с самого начала каменной оградой обрезали, ограничили его место, его обиталище, его жизненное, необходимое ему для дыхания пространство, ибо еще до рождения приходилось заботиться о своем спасении ему, спасшему других; не успела просохнуть кладка его стен, как уже вознамерились его разрушить — как бы, дескать, в будущем Нико не нашел здесь убежища. Так что сам город вместе с укрывшимися за его стенами людьми все время висел на волоске, в страхе встречал день и в страхе засыпал ночью. Как карлик, у которого искусственно прервали рост, он остался маленьким навсегда. Поистине, Сигнахи — это всего лишь каменное гнездо, но от всякого другого гнезда он разнится тем — и это,

наверно, главный его отличительный признак, — что в нем не вылупляются и не подрастают, пока научатся летать, свои птенцы, а лишь находят спасение и укрытие родившиеся в других местах, но почему-то не окрылившиеся, не приспособленные к полету.

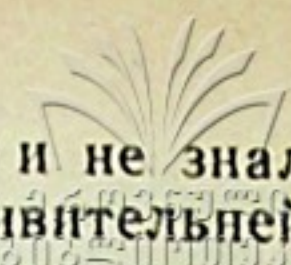
— Да, Сигнахи значит убежище, я знал это, — повторяет Нико

— Что я тебе говорил, что я тебе говорил сегодня, — повышает голос Ваню-учитель.

Кольцо, испуганное, падает, еще не потеряв разгона, раньше, чем оно должно было упасть. Валяется, притворяется мертвым металлический кружок, — кольцо, окружность, символ вечности, бесконечности, тождественности самому себе. Так же, как жизненный путь, оно кончается там, где начинается — не имеет ни начала, ни конца. Но только, в отличие от жизненного пути, оно обвивает, облегает всего лишь человеческий палец, не престанно напоминая человеку, что выхода нет, что в плену у вечности, бесконечности, самотождественности придется ему провести всю свою жизнь до самого конца. Но сейчас главное — то, что сказал Нико Ваню-учитель. Достоин ли ты жизни — вот каков был смысл того, что он сказал, хотя и другими словами. Что ж, правильно сказал, если разумел именно это. Не до крестовых походов Нико сейчас — ведь он, оказывается, не выяснил еще самого главного. Сейчас его задача — как можно скорее определить, достоин ли он жизни. Поэтому он должен безотлагательно предстать перед судьями в Замке судей, там ему скажут правду, там не станут с ним чиниться, чик — и отрежут в корне ножницами для стрижки овец язык или руку по локоть, в зависимости от того, как посмотрят на его проступок судьи — признают его невольным наводчиком или невольным убийцей. Иными словами, поставят его вровень с Наскидой или признают товарищем Гогия. «Не дай Бог, не дай Бог!» — повторяет Нико в душе и бежит, бежит, не чуя под собой ног, так, как будто знает, в какой стороне находится страна душ и где в ней стоит Замок судей. Вернее, как будто в самом деле стоит где-нибудь такой замок в такой стране — вне его собственной души, вне его существа. — «Скорей! Торопись!» — подгоняет он себя в сильнейшем возбуждении, безмерно взволнованный возможностью этих двух, пусть хотя бы в его соб-



ственных глазах допустимых обвинений. Знает — и не знает, куда бежит; знает — и не знает, зачем; чувствует, чем знает, но уверен, что так надо. Во всяком случае, не часто ему приходилось так глубоко, так исчерпывающе осмыслять свои действия. И он бежит, бежит, стремится вперед, на пути попадаются ему какие-то тени, фигуры, лица, порой незнакомые, а порой как будто похожие на знакомых людей — мертвых, живых. У всех, как у того, убитого около старой церкви человека, глаза полны невыразимой тоски, от всех этих лиц веет стариной — как бы от людей, существовавших в иные времена, в иной жизни. На них уже растрескалась набрякшая, посинелая плоть, но они в то же время живые, идут навстречу, разговаривают. Впрочем, нет, не идут в каком-либо направлении, а ходят на месте, описывают круги, как кольцо Ваню-учителя на столе. Одежда на них превратилась в лохмотья — видно, не меняли ее с незапамятных времен. И пахнет от них гнилью и плесенью. — «Кто вы такие?» — спрашивает их, не останавливаясь, запыхавшийся от бега Нико, и странное, ужасающее своей несомненностью предчувствие овладевает им вдруг: он уверен, что в этой толпе замешался и цнорский Сосо, возлюбленный его тети, герой однодневного ее романа. — «Сам-то ты кто такой, куда бежишь, там дальше ничего нет», — кричат они вслед ему, уже пробежавшему мимо. Но Нико не может остановиться, у него нет времени, он должен выяснить сперва другой, гораздо более важный вопрос, он должен наконец узнать, имеет ли право глядеть в лицо не только живым, но и мертвым. Так что еще раз придется тете простить его за то, что он не смог помочь ей узнать правду — это ведь не потому, что он равнодушен к горю своей тети, а потому, что ему сперва надо выяснить, определить свою собственную правду, он еще не понял сущности своей беды. И он бежит, бежит, стремится вперед, а впереди в самом деле больше ничего нет, он как бы летит, или, возможно, плывет в дымчатой пустоте (это тоже трудно определить). Но землю под ногами он явно не чувствует. Бесцветное, пустынное пространство обступает его со всех сторон. — «Дальше, наверно, будет еще хуже», — подумал он, упав духом, и собрался было повернуть назад, но через минуту шагнул по дорожке, посыпанной гравием, бок о бок с каким-то

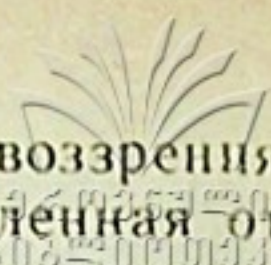


тщедушным, лысым человеком. Он и знал, и не знал, кто этот человек, но при том, что всего удивительней, даже не задавался вопросом, откуда тот взялся тут, рядом с ним. Место, по которому они шли, напоминало и батумский парк, и сигнахский городской сад, так что ему и впрямь, пожалуй, не о чем было тревожиться. Досаждало только одно: он настолько превосходил ростом своего спутника (хоть и старшего по возрасту), что вынужден был сгибаться в спине. А тот решительно, весело шагал, топоча каблучками, по своим зеленым владениям и ничто его не беспокоило, ничто не привлекало его внимания (и не причиняло ему досады), кроме неправильно обстриженных кустов, неравномерно рассыпанного на дорожке гравия, травы, выросшей не там, где следовало, или обломанного, увядшего на стебле цветка... Ничто не ускользало от его всевидящего глаза. Кожа на безволосой голове и на затылке была у него морщинистая, как шея у черепахи. Руки у него были заложены за спину, на согнутом среднем пальце висел крохотный золотой ключик на золотом кольце. Ключик покачивался на ходу и, когда солнечный луч ударял в него, сверкал так ослепительно, что, казалось, взорвалась миниатюрная мина.

Вдоль дорожки, в бархатистой тени, были расставлены длинные зеленые скамейки, а на них сидели мальчики, ровесники Нико, которые могли бы быть его товарищами, — но какие-то вялые, тряпично-обвисшие, похожие на обыкновенных больных в обычном саду какой-нибудь обычной больницы. И одеты они были, как больные, в обычные сползающие пижамы или в длинные, подпоясанные халаты, а обуты в шлепанцы на босу ногу. — «Это дети именитых людей», — как бы про себя проговорил человек с морщинистой кожей на голове и на шее и почему-то усмехнулся себе под нос. У Нико сразу прояснились мысли, он все понял, во всем разобрался, так как вспомнил слова Ваню-учителя: искатель услад этого мира непременно в конце концов попадет в бесовский рай. Смущенный и взволнованный этим неожиданным открытием, Нико незаметно бросил взгляд на своего спутника — он хотел проверить себя и не сразу поверил своим глазам, потому что до сих пор представлял себе беса совсем иным — пожалуй, он

был несколько разочарован тем, что тот несколько ^и отличался от обычных людей.

Детей именитых людей кормили три раза ^{в день} утром, среди дня и вечером — а от еды до еды они могли делать что хотели. Никто не заставлял их рубить дрова или чистить картошку! Могли хоть стоять на голове — никто не запрещал. Ни хвалить, ни бранить их было некому. За это, наверно, они и любили беса — нужны были чрезвычайные причины, чтобы он рассердился или пожурил кого-нибудь. А если ему требовалось что-нибудь им сказать, он записывал на пластинке свое сообщение и ставил пластинку на проигрыватель; так, при помощи граммофона, он доводил до сведения детей именитых людей свои мысли и воззрения. Наверно поэтому в этом бесовском раю царили покой и согласие, у всех всего было вдоволь, всем все нравилось, никто не изводился, тоскуя по родителям или печалась о заброшенном мертвецe и, главное, никто ни в чем не мог упрекнуть никого другого, все были довольны друг другом, так как все были одинаковы, не отличались друг от друга ни глупостью, ни умом — все были совершенно одинаковы и жили одинаково до неразличимости, и к тому же беззаботно, беспечно, бездумно. Одинаково разваливались они на скамьях, одинаково откидывали назад головы и глядели на облака до тех пор, пока у них не уставали глаза или пока птица не роняла им в глаз шарик помета. На красиво обстриженных кустах щебетали птицы, над разнообразными цветами носились с жужжанием пчелы, порхали бабочки. вода, усеянная сухими листьями и пронизанная извилистыми, безжизненными стеблями водяных растений, плескалась подобно пленной волшебной птице в бассейне, билась зеленоватыми крыльями о его края — отчего вокруг бассейна земля была всегда покрыта жидкой грязью. Но самой главной достопримечательностью бесовского рая был, разумеется, граммофон с огромным ухом-трубой, особым достоинством которого, сверх всяких других достоинств, было то, что он заводился сам (у Нико был в Батуми патефон, ручку которого приходилось непрестанно вертеть, так что отваливались руки. Отец лежал в больнице, мать проводила дни около него, а Нико накручивал патефон), только бесовский граммофон не пел, а лишь разговаривал — а именно, время




от времени сообщал жителям «рая» мысли и воззрения повелителя здешних мест. Запыленная, искривленная от жары пластинка сперва издавала шипение и хрип, а потом во всему «райскому саду» разносился, как удушливый дым сжигаемых палых листьев, вкрадчивый, сладкий, улыбочивый голос беса. Он ничего умного не говорил, он вообще ничего не высказывал, возня с граммофоном была лишь своего рода игрой, — но все прислушивались с таким напряженным вниманием, как будто рухнул бы мир, пропусти они хоть одно слово. А между тем граммофон извергал еле связанные друг с другом слова, молот всякую чепуху, все, что у наговорившего пластинку срывалось с языка, и получалась такая путаница, неразбериха, абракадабра, что можно было по желанию выловить из этого вздора любую мысль. Но больше всех смеялся этому бреду сам бес, его автор — к тому же не один, а два беса одновременно, в один голос: тот, кто вещал с пластинки, и тот, кто слушал на земле. Стоило одному из них, на пластинке, засмеяться, как другой, укрывшийся за стриженным кустом, хихикал и мотал головой. Нико долго мучился, прежде чем разобрался в этих бесовских речах — сначала он слышал голос, различал отдельные слова, но смысла никак не мог уловить; а потом понял, что это всего лишь игра, потеха, и она ему очень понравилась, он всякий раз с удовольствием слушал пластинку. — «Хи-хи-хи, ха-ха-ха, — смеялись бес на пластинке и бес на дорожке, усыпанной гравием. — Абаделля, абаделля, вкусно мясе человечье, есть его одно веселье, что еще вам сказать, хорошие мои, если не умеет вытирать жопки малышам, то и не рожайте их. Разве не лучше совсем не родиться, нежели после захлебнуться в собственном дерьме? Ха-ха-ха, хи-хи-хи». Так проходило время. Вернее, не проходило — ничего не менялось в бесовском раю, бассейн плескал по-прежнему, пластинка крутилась, как крутилась, и крохотный ключик беса по-прежнему бесшумно «взрывался» то в одном, то в другом райском уголке. А Нико стал походить на других, и со страхом, переросшим в любовь, засматривал бесу в глаза, не замечая ни происходящих в мире изменений, ни бега времени. Все его желания немедленно исполнялись — притом раньше, чем они успевали созреть и определиться. Собственно, он и сам не знал, чего хотел и

хотел ли вообще чего-нибудь. Все получал он готовым, не пошевелив рукой, и был счастлив, принимал как должное дарованное ему благодаря родительской слепоте счастье и блаженствовал, наслаждался — пока во сне не явились ему снова родители.

Отец и во сне, будто бы, лежал с закрытыми глазами, а мама сидела у его изголовья в белом халате, накинутом на плечи. Вдруг она посмотрела на Нико через плечо, приложила палец к израненным губам и сказала: «Вот, смотри, это от того, что я все лизала цепь, что сковала твоего отца. А ты отобрал у больного последнюю котлету». — Оторопелый от этого странного, но столь жизненного видения Нико и не заметил, как покинул бесовский рай. А когда он опомнился и отдал себе отчет в происходящем, он был уже в цыцанурском лесу и, укрывшись в кустах, с колотящимся, как у зайца, сердцем следил за убийцами Ильи.

Их было четверо: дядя Гогия, Горожанин, Одноглазый и Бородач. Все с ружьями. У Горожанина, кроме того, висел на поясе огромный револьвер «Смит и Вессон». — «Объясните мне все-таки, за что мы собираемся убить этого почтенного человека?» — сказал Бородач. — «Почтенного?» — приподнялся с земли Горожанин. — «Ну да, ладно, я так, просто сказал, что ты все время цепляешься к слову!» — струсил Бородач. В бороде у него запутались сухие стебли травы. Гогин дядя и Одноглазый сидели тихо, задумавшись, с застывшим взглядом, и прижимали в ожидании ружья к груди. Уже третий день, как они ждут здесь, в лесу, без сна и без отдыха. Не могли даже толком выяснить, когда Илья собирался вернуться из Тбилиси. Отбили себе бока, валяясь на голой земле. В довершение всего, у Гогинного дяди от волчьих ягод расстроился желудок, и он то и дело неожиданно вскакивает и бросается опрометью в кусты. Он даже не застегивает пояс, чтобы не опоздать спустить штаны и не осрамиться перед товарищами. — «По-братски прошу, отойди подальше», — смеется ему вслед Горожанин. — «Это у него от страха медвежья болезнь», — смеется и Одноглазый. Нико охвачен необоримым волнением, сердце у него готово выскочить из груди, он знает, что сейчас должно случиться, но даже если бы он не боялся, если бы даже ему ничего не стоило уничтожить заразу, запросто всех чет-




верых, он все равно ничего не может сделать, по той простой причине, что все, происходящее сейчас перед ним, и все, что должно произойти через несколько минут, случилось задолго до его рождения. — «Отчего ты мечешься, что тебя беспокоит, милый?» — доносится до него шепот бабушки, доносится откуда-то издалека, еле слышимый, неузнаваемый, и он сам удивляется: что же его волнует, что его беспокоит? — то, что сейчас происходит перед его глазами, то, что случилось давно, еще до его рождения, случится, наверно, еще много раз, так как все, что происходит, происходит не один раз, а вечно. И вот, в душном, горячем воздухе разносится вдруг звон бубенцов приближающегося экипажа, и вместе с засуетившимися убийцами Нико напряженно всматривается в дорогу.

А по дороге катится коляска Ильи, спешит к роковому месту, к роковому мгновению. На козлах сидят двое — кучер Тедо и слуга Иакоб. У Тедо от ожидания, от волнения, учащенно бьется сердце, он знает, что по условью с минуты на минуту должны где-то здесь выскочить из кустов его сообщники. Он несколько даже удивлен тем, что они еще не выскочили. Скоро коляска мчится Цицамури. «Передумали, что ли? Что за черт!» — думает он встревоженно. — «Н-но-о, волчья сыть!» — погоняет он лошадей. А у тех булькает в брюхе, они напились во Мцхета, отяжелели, но тем не менее бодро, во всю свою мочь везут коляску. Поскрипывают оглобли. А Иакоб, напротив, спокоен, у него отлегло от сердца. Они уже почти дома, здесь никто не посмеет на них напасть. Да и казачья застава тут же рядом, в двух шагах. Ружье лежит у Иакоба на коленях, и он спокойно, беззаботно перебирает пальцами по его прохладному стволу. Ему и в голову не приходит, что через две минуты он будет валяться мертвый в пыли. Илья откинулся на мягкую спинку коляски рядом с женой. У него тоже есть оружие — в нагрудном кармане его сюртука засунут пистолет. Смутные времена! Впрочем, Илья не представляет себе, как бы он мог выстрелить в человека — даже в собственного убийцу. Ему просто приятно ощущать в кармане грубую, напряженную тяжесть пистолета, и он красуется перед домашними — хороший пистолет, системы маузер. Потные бока лошадей блестят на солнце. Где-то воркует горлинка. Стре-

кочут сверчки. Местами ярко желтеют кусты азалии. С обеих сторон коляску обвеваает горячий воздух. «Нас сейчас убьют,» — спокойно думает супруга Ильи. С самого утра мучает ее недоброе предчувствие, но она никого не смогла заразить своим волнением, своими страхами и в конце концов успокоилась сама, словно бы примирилась с мыслью о неизбежной беде и сейчас, перед тем как случится неотвратимое, просто подытоживает в уме все, о чем думала в течение этого дня. — Так, наверное, нужно, — продолжает она свои мысли после недолгой паузы. — Главное, это не испугаться. Так, наверное, требуется для нашей страны. Прогнили мы насквозь, заплесневели в рабстве... Люди разучились распознавать, что белое, а что — черное, не умеют отличить друга от врага... Если не произойдет что-нибудь чрезвычайное, право, всем нам не избежать гибели, и это будет конец всему, — думает она спокойно, невозмутимо, без волнения, как подобает супруге Ильи. — Если мы что-то представляем собой в глазах нашего народа, быть может, потрясет его обескровленное, расслабленное сердце наша смерть среди бела дня, на большой дороге... Враг, разумеется, этого не думает, но так может случиться. Во всяком случае, мы должны быть готовы ко всему. — И через некоторое время, чуть смятенно, растроганно: — Будь радостен в этом мире и в вышних. Я безмерно благодарна тебе, супругой и друг, за общий наш земной путь... Прощай, прощай... Но Божьей милостью все будет хорошо», — завершает с внезапной надеждой свою думу Ольга Чавчавадзе, урожденная Гурамишвили. Гордо выпрямившись, сидит она рядом с Отцом Грузии, с непокрытой головой (шляпу с нее сорвал ветер, как только они выехали на шоссе из Тбилиси), и сердце ее исполнено благости, милосердия, надежды и благодарности ко всем и ко всему — к жизни, к Богу, к людям, благодарности за все — даже за возможную гибель среди бела дня, на большой дороге, вместе с обожаемым, увенчанным славой супругом.

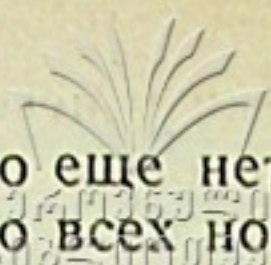
В эту самую минуту выскакивают из кустов убийцы и преграждают путь экипажу. Кучер Тедо от растерянности вытягивает плетью лошадей. — «Что ты делаешь, сучий выблядок!» — орет на него Бородач и повисает на узде одной из лошадей. Иакоб наудачу, не



целясь, стреляет из ружья, соскакивает с козел и бежит к кустам, но, не достигнув чащи, спотыкается и падает на землю ничком. — «Ранил меня, проклятый!» — выкрикивает Бородач; вцепившись обеими руками в правую голень, он катается по земле и скрежещет зубами. Гогин дядя подбегает к коляске и всаживает пулю в грудь Ильи, приподнявшегося на сиденье. — «Неразумные!» — не кричит, а чуть слышно шепчет супруга Ильи в ужасе и изумлении — в ужасе и изумлении, несмотря на то, что, мучаясь предчувствиями, именно этого она ожидала с самого утра. Гогин дядя бьет ее ружейным прикладом по лицу и сразу отскакивает назад, отступает от тела Ильи с пробитой грудью. Тело валится на землю тяжело, с глухим звуком, как будто грянулся оземь оторвавшийся от стены храма камень. Манжета, сползшая с руки Ильи, катится по дороге, как кривое колесо. — «Не оставляйте меня, ребята, я легко ранен, пуля попала в мякоть», — скрипит зубами, хнычет Бородач. У Горожанина в руке саквояж Ильи. Илья и его супруга лежат на дороге, у заднего колеса экипажа. Над ними стоит дядя Гогин, смотрит на них сверху застывшим взглядом. — «Да ты, парень, я вижу, бесхребетный какой-то», — со смехом говорит ему Горожанин. Гогин дядя думает, что над ним насмеются, что обвиняют его в трусости, и еще несколько раз с силой бьет жену Ильи по лицу прикладом. — «Отойди, дай мне сперва серьги с нее снять», — говорит Одноглазый. А Гогин дядя молча смотрит на убитых, боится заговорить, знает, что голос изменит ему и он окончательно осрамится, опозорится навсегда. И без того в эти три дня понос сделал его посмешищем, гонял его взад-вперед, как мальчишку на побегушках. Весь лес вокруг из-за него провонял. Он зол на свой понос безмерно, это с ним — так ему кажется — расправляется он, когда расшибает ружейным прикладом лицо несчастной женщины. Одноглазый перевязал ногу Бородачу и сейчас вырезает ему палку из ветки дерева. Стесанные с ветки листья сыпятся в лужу крови. Нико потрясен виденным настолько, что выбегает из своего укрытия и, ошеломленный, бродит по поляне, то натываясь на убитых, то путаясь в ногах у убийц. — «А этот откуда приبلудился, — смеется Горожанин. — От кого отстал? Чей ты, мальчуган?» — спрашивает он Нико с

фальшивой лаской в голосе. Но Нико кружит по поляне, по опушке с разинутым ртом, как турист-иностранец среди развалин величественного храма. Ужасное зрелище леденит ему душу, раздирает его сердце, но он делает над собой усилие, заставляет себя смотреть, чтобы уже с этого времени, до рождения, приучить себя глядеть правде в лицо; если он сейчас отведет взгляд, то ослепнет навсегда — или раз и навсегда привыкнет закрывать на правду глаза. — «Вот что с нами сделал враг, — говорит с такой же фальшивой серьезностью Горожанин. — Ты знаешь, кто это такой? — спрашивает он с фальшивой гордостью. — Ну, так запомни. Вы, грядущие, должны хранить память о вашем дяде Илье, дедушке Илье... Да нет, какой он дедушка, — улыбается он своей шутке. — Он был отцом каждого из нас, всех, от мала до велика, — продолжает он с фальшивым волнением. — Ну, теперь это ваша забота, посмотрим, как вы будете хранить и беречь его имя и его могилу», — с фальшивой задушевностью поучает он Нико — и уходит. В руках у него саквояж Ильи, ружье висит у него на плече вверх ногами, дулом к земле, по-разбойничьи. А Одноглазый навесил на себя три ружья — свое, Бородача и Иакоба — да еще поддерживает Бородача, помогает ему идти. Бородач с перевязанной ногой опирается на грубо обструганную палку и нерешительно, медленно ковыляет, цепляясь за руку сотоварища. Они уже вошли в лес, их по пояс закрывают кусты. Еще минута — и они затеряются навсегда, поглощенные непроглядной ночью неведения, невежества, навязанной им или добровольной слепоты. — «Ну, смотри, — еще раз бросает Нико Горожанин и дает подзатыльник Гогинному дяде, стоящему на коленях около своих жертв: — Вставай, пойдем, что ты оторопел!» Вдруг на глаза ему попадают разбитые очки Ильи — он нагибается, поднимает их с земли двумя пальцами, как мертвое насекомое, церемонно подносит к глазам и, обернувшись к Нико, нарочито тонким, писклявым голосом произносит: «Прошу встать, господа, суд идет».

А у Нико от ярости и от беспомощности сердце готово разорваться на части. Ах, если бы он был уже рожден — тогда он хоть что-нибудь мог бы сделать. Схватился бы с этими бездушными, бесчестными, гнилокровными подонками, и если не сумел бы расправиться

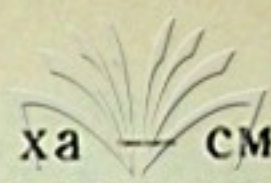


с ними, хоть сложил бы голову не зря. Но его еще нет, он еще не существует — и все бежит, бежит со всех ног, углубляется в чужое прошлое. Вернее, убегает опрометью оттуда, из чужого прошлого, следуя темному и таинственному пути семени от небытия к жизни, чтобы родиться, возникнуть, возрасти и начать все сначала. «Да, сначала. Еще раз», — говорит он в душе твердо, сурово, упрямо. А войско, едва успевшее угреться, неохотно, мешкая, через силу вылезает из окопа, невыспавшиеся, намерзшие солдаты, брюзжа, выстраиваются вдоль его края, зевают, почесываются... оборотив спину к противнику. Черная, длинная, распаленная пасть окопа бесшумно поглощает косою, быстрый снег. В шинели, накинутой на плечи, с тростью в руке, медленно проходит перед рядами солдат генерал — останавливается чуть ли не на каждом шагу, вглядывается в лица солдат, пытаюсь найти, узнать среди них своего деда — но как найти того, кого здесь нет; и генерал спрашивает удивленно: «Солдаты, где же мой дед?» — «Дедушка ваш давно убежал, сейчас он, наверно, уже миновал Лочинскую балку», — с хриплым смехом отвечают солдаты. Снег идет. Снег идет. Снег идет. Косою, сухой снег валится в окоп, исчезает в земле — словно нарочно для него освободили окоп солдаты. А из окопа густым туманом поднимается оставленный войском запах, накопленное людьми тепло — «Очнись, хватит спать, что это на тебя сон напал?» — откуда-то из другого мира доносится время от времени шепот бабушки; а Нико предстоит еще пройти долгий путь, чтобы добраться до нее, он пока еще застрял в других временах, он сейчас будто бы бежит вдоль брошенного когда-то его дедом окопа, шлепает по залитому жидкой грязью дну траншеи — и ничего у него нет пока своего, кроме жизни.

Но хотя он и был жив, ему еще предстояло выяснить, спасся ли он в самом деле и достоин ли он жизни. Потому и бежал он так самозабвенно, со всех ног, неведь куда, наудачу, подгоняемый упорным желанием выяснить, постичь, осмыслить. Бежал, доверяясь наитию. Вдруг кто-то застонал — тут же рядом, у самого уха Нико, кто-то, чья голова словно лежала на той же подушке. И новое видение волнами медленной реки понеслось перед взором Нико. Волны плеснули в плотину его памяти. Плеснули — отец будто бы что-то хотел сказать,

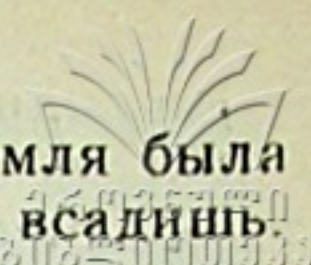
веки у него задрожали, но он все же не открыл глаз. А Нико не замедлил своего бега. Он теперь несся вперед еще быстрее, еще самозабвенней, он был весь во власти гнева, недоумения, сомнений. Вокруг, куда доставал глаз, ничего не виднелось; не было нигде Замка судей. «Где же он, где же он?» — нетерпеливо, раздраженно вопрошал Нико, обращаясь к пустынным пространствам, обступавшим его. — «Там, где ты сейчас», — отвечали пустынные пространства голосом Ваню-учителя. — «Где? Где? Где?» — раздражался еще больше Нико. — «А где, по-твоему, ты сам?» — не менее раздраженно отвечал незримый голос. В самом деле, где сейчас Нико — как он думает? Он давно уже в Замке судей. Если бы он пригляделся повнимательней, то давно уже догадался бы об этом. Сквозь стены, сложенные из огромных камней, не скрепленных раствором, свободно проходит ветер — гуляет со свистом и воем по всему замку. Порой каркает ворона, гукает сова, хохочет шакал. И снова воцаряется тишина. Впрочем, здесь все ночные звуки считаются тишиной. То, что не видно, звуков не издает. У каменного стола стоят каменные кресла, это — места судей. В каменных подсвечниках едва мерцают догоревшие свечи. Перед отверстием в стене, которое, должно быть, служит дверью, стоит скелет с обнаженным мечом, не для устрашения, а скорее как некое иносказание: — «Кончено, отныне отрезаны все пути», или — «Здесь ничего не удастся скрыть, все здесь обнажено, как я и мой меч». Впрочем, вполне возможно, что скелет с мечом имеет какое-нибудь иное значение. Но страшного поистине здесь ничего нет. Страшен человек, а не его скелет. Стоит ведь и в школе у Нико скелет с оторванной рукой, стоит, не сходя с места, но никто не знает, каково его назначение. Вот только все с ним здороваются за руку. Обычай этот завел Ваню-учитель. Когда он в первый раз вошел на урок, то сначала пожал руку скелету, словно старому знакомому, а потом уже поздоровался с учениками. С тех пор каждый считает себя обязанным дважды в день, приходя и уходя, пожимать скелету руку. И скелет при каждой рукопожатии весь хрустит и трясет склоненным набок черепом так, как будто отвечает на приветствие. Никто не знает, достали ли его из могилы одноруким, или он был цел и руку у него оторвали потом. Скорее всего, оторвали —

если хотите напугать кого-нибудь, лучше ничего не придумаете: спрячьте руку скелета в рукаве вашего пальто и протяните ее вместо своей руки тому, над кем решили подшутить. Здравствуйтесь. Здравствуйтесь. Что с вами? Отчего вы побледнели? Вы не знали, что я умер? Любят школьники развлекаться в таком роде, с кем угодно могут поспорить в дурачье, в неразумии; и если мертвых в мире больше, чем живых, то значит и здесь, в обиталище душ, дураков больше, чем умных. Но Нико сейчас некогда заниматься выяснением таких вещей, он стоит перед судилищем. Сердце у него стучит, дыхание перехвачено, он ждет суда и приговора. — «Какие ты совершил преступления против семьи и против сограждан?» — спрашивает его незримый голос. Какие преступления... какие преступления... — повторяют щелистые циклопические стены, перекликаясь, словно крепостная стража. Да, но что считается преступлением? Какие из своих проступков должен перечислить Нико? — «Мое самое большое преступление», — начинает он дрожащим голосом, морща подбородок, и замолкает, потому что и вправду не знает, что вспомнить, о чем рассказать. Ничего он не совершил до сих пор — ничего! — и пока что это, наверно, и есть самое его большое преступление, если отсутствие поступков может считаться проступком. — «Что считается преступлением?» — спрашивает он, заинтересованный, настороженный, взволнованный этим неожиданным открытием. Что считается... что считается... что считается — повторяют стены. А Нико ждет ответа, и сердце у него замирает, в ушах звенит. Вот теперь в конце концов выяснится, он узнает, чего заслуживает — лимонного дерева или овечьих ножниц. Знать — это уже большое облегчение. — «Не присваивал ли ты чужого?» — слышится со всех сторон. — «Американский жилет!» — не задумываясь, отвечает Нико, словно и вопрос ему был заранее известен, и ответ давно уже готов. — «Жилет?» — удивляется незримый голос; переспрашивает, сомневаясь, не ослышался ли он — видно, не ожидали такого ответа. — «Да... жилет, — подтверждает Нико. — В прошлом году привезли американскую одежду для семей фронтовиков. Тетя пошла за нею со мной, сказала, что нам что-нибудь должны выдать; тетя, правда, незамужняя, но у нее любимый человек, жених погиб на фрон-



те», — объясняет он, как умеет. Ха, ха, ха, ха — смеются стены. — Ха, ха, ха, ха... А Нико растерянно улыбается, не понимает, что он сказал смешного. Вытягивает шею, смотрит по сторонам, но ничего не видит, кроме камней в стенах, не скрепленных раствором. В дымоходах свистит ветер, скелет с мечом трещит, хрустит, как бубен под бьющей в него рукой, внезапно гукает филин, раздражается хохотом шакал — и вновь воцаряется могильное молчание, мертвенное, потустороннее. Голос, видимо, вдоволь насмеявшись, отдыхает. Смеялся он от души — так, что Нико чуть было не заразился смехом, еще немного, и он захохотал бы, как безумец — здесь, один-одинешенек среди этих глыб, сложенных в стены. — «Это не преступление», — говорит наконец голос. Не преступление... не преступление... пленение... — гудят стены. — «А еще? Больше ничего не можешь припомнить?» — спрашивает голос, и тотчас же вспоминается Нико завернутая в бумажную салфетку холодная, подернутая как бы белым инеем котлета. Он удивляется — как это не вспомнил о ней до сих пор; разве это не тяжкий проступок — присвоение котлеты больного человека, пусть даже родного отца, во времена всеобщего голода и крайней нужды. — «И это тоже не преступление, — не дает Нико додумать мысль до конца незримый голос. — Это не преступление. Ни в коем случае, ни в коем случае, — продолжает голос взволнованно, словно на мгновение усомнившись в своей правоте. — В древней Греции, — продолжает он прежним, повелительно-ласковым тоном, — в Древней Греции самым большим преступлением считалось расточение отцовского имущества, но отцовскую котлету сын может и должен съесть. Вы оба поступили хорошо», — заключает голос, потеплев. — «Что же тогда считается у вас преступлением? — удивляется Нико. — Чего я не должен был делать?» — «Чего ты впредь должен не делать», — поправляет его голос. — «Чего я должен никогда не делать?» — повторяет Нико. — «Никогда не присваивай того, что нельзя присвоить, — говорит голос после недолгого молчания. — Чужой колыбели или чужой могилы; чужой печали или чужой радости. чужого святилища или чужого дома скорби». — «Никогда!» — говорит Нико твердо, взволнованно, как герой повести Казбеги, и вдруг запах горелой резины бросается ему в ноздри

— он видит, что стоит не среди щелистых стен ^{Замка} судей, а в старой церкви, около оставленного кем-то догорающего костра, и разгребает жар палкой, ^{с которой} которой сыпятся искры. Он несколько не удивлен ни тем, что вдруг исчез Замок судей, ни тем, что он непонятным образом очутился здесь. Словно иначе и не могло случиться. Словно здесь было его место. Он сразу узнал все вокруг себя и с уверенностью мог сказать, что именно отсюда начался месяц тому назад его бесконечный путь, ведущий ниоткуда никуда. А это само по себе уже что-то означало — круг замкнулся и минувшее время прислонило все прожитое и перенесенное, как старое, сломанное колесо, к стене его души. Огонь уже угасал, но подернутые пеплом красные глазки еще выглядывали то там, то здесь из черной кучи золы. Тот, кто разжег костер, заготовил впрок вместо дров куски старой резины, но, видимо, ушел отсюда раньше, чем истощился весь его запас. Зловонный дым, извиваясь, как змея, поднимался к полуобвалившемуся своду и бесследно исчезал в зияющей рваной круглой дыре, оставшейся на его месте — исчезал, подхваченный ветром. Впереди виднелся проем двери. Самой двери не было — то ли ее источило время, то ли захожие люди сожгли вместо дров, как последний посетитель — куски резины. После путешествия по царству снов, видений, сказок Нико со страхом и волнением выглянул в дверной проем, и когда увидел раскинувшуюся перед его взглядом знакомую до мелочей местность, ему стало так приятно, как он и сам не ожидал. Там, снаружи, не было никого, кроме ветра, который проворно пробегал над редкой, облезлой травой и упорно, с воем, сопеньем и храпом наваливался на корявую и шероховатую, костлявую грудь оголенного кустарника, словно собирался сдвинуть его со своего, Богом назначенного ему, места. Вдали сквозь кустарник белели осыпавшиеся под дождями, размытые потоками, обрывистые кручи. Белая дорога бежала вверх, вилась, обрывками проглядывая в промежутках между зарослями. А совсем высоко, на самой вершине горы, примостился, как каменное гнездо, маленький, обнесенный крепостными стенами город с колокольней без верха. «Сигнахи значит убежище», — подумал он и вдруг его прохватил озноб, он весь затрясся, как будто вылез на стужу прямо из теплой постели. Ветер был



еще по-зимнему студеной, пронизывающей. Земля была твердая, заледенелая, такая, что и лопату не всадишь. И никто, кроме Колы-полоумного, наверно, и не попытался бы с нею сразиться. Нико вернулся внутрь церкви и раздул гаснувший огонь, подбросил в него побольше обрывков резины. Дым стал гуще, черней, горше, но Нико не почувствовал тепла, огонь был без жару. Или Нико пронизывал как бы иной, потусторонний холод, и ему просто было приятно стоять возле огня, он склонялся над чадным, зловещим костром и помешивал кончиком палки тлеющую кучу резины. И в эту минуту сам же заглянул снаружи и вздрогнул от неожиданности, словно не чаял никого увидеть в старой церкви, — хотя сначала, заметив выбивающийся дым, подумал, что раз там кто-то разжег костер, то и он сможет немного обогреться; однако, увидев у огня незнакомца (!), заколебался, остановился на пороге, словно застеснялся (или, возможно, даже испугался) чужака. Но стоявший у огня сделал ему знак рукой, приглашая войти; он подошел к костру и сунул скрюченные, одеревеневшие от холода пальцы прямо в огонь. Но тепла он — и на этот раз — не почувствовал, а пальцы сразу почернели, покрывшись сажой. — «Кто ты, куда путь держишь?» — спросил ковырявшийся в огне пришельца, засунувшего пальцы в огонь. — «Если правду скажу, мама у меня умрет, а если совру — пада», — улыбнулся вошедший и, присев на корточки, еще глубже засунул руки в огонь. Но огонь не грел, в нем совсем не было силы. — «Только не говори, что ты сын Амирани», — насмешливо посмотрел стоявший у огня с высоты своей уже давней (месячной давности) смерти, словно феодал на подданного с башни родового замка, и палкой, рассыпающей искры, не разворошил жар, а ткнул в огонь, как стимулом-стрекалом в осла. Взлетели резиновые головешки, поднялась туча золы. Сидевший на корточках откинул голову, отвернул лицо от головешек и золы и сказал: «Отчего же я не сын Амирани — чем не вышел? — но тут вдруг дым пахнул ему в лицо и заставил его вскочить. Он вытер закопченные руки о штаны и продолжал, перемежая слова кашлем: — Отец мой прикован к постели, а мать неотлучно при нем, все лижет его цепи». — «По мне — так гордиться и хвастаться тут нечем», — сказал ворошивший огонь, неожиданно распалившись, и ткнул ис-

кромечущей палкой на этот раз в пространство, как шпагой. С палки осыпались вместе с золой бледные искорки, которые гасли в воздухе, не успев долететь до земли. А он упорно колол воздух, как фехтовальщик — воображаемого противника в тренировочном зале, и как бы говорил пришельцу: — «Ничего ты не стоишь, и грош цена твоей бессмысленной, путаной болтовне!»

— Слушай! — говорит вдруг он, с удивлением замечая, что произнес это слово — «слушай» совсем как отец тогда, в день расставания, в больнице. Но если он сейчас станет задумываться над этим, то так ничего и не сумеет сказать, ибо пока что он говорит лишь чужие слова и на чужой манер, похоже на отца или на Ваню-учителя; но и этого немало — способность слушать и запоминать в конце концов необходима именно для того, чтобы найти, открыть в себе те, свои собственные мысли, которые ты и выскажешь, — то что тебе дано, то что ты призван выразить. — Слушай, — тут же повторяет он, на этот раз с большей твердостью, хотя и дрожащим от волнения голосом, как солдат, который вынужден временно исполнять обязанности раненого или погибшего командира. — Слушай! Мы сейчас умрем. Вернее, умрет один из нас, худший ради лучшего. Случайно, по ошибке или по заслугам — не имеет значения, мира от этого не убудет, он даже не узнает об этом, потому что тот из нас, кто умрет, в действительности умрет только для нас, умрет у нас, в нашей душе, в нашем сознании и совести, и только для того, чтобы оставшийся в живых оказался достойным жизни, вырос, возмужал, набрался сил, понял наконец, чем жив и на чем держится мир. И чтобы не отступился от мира, а спас его, выходил, оживил, как наши родители оживили купленных на рынке рыб. Таких, как мы — обиженных, обманутых, рассерженных — много на свете. И день ото дня их будет становиться все больше. Вот увидишь — завтра, послезавтра, неисчислимы, как песок, они затопят все вокруг, весь свет. Как саранча, растекутся они по миру, сожрут, оголят, превратят в пустыню собственное отечество — зачем уступать его Помпею, Гитлеру, уж лучше самим, своими руками... И если прогневадается Господь, если никто не остановит их, если не найдется никого, чтобы проявить истинное сочувствие, понимание, сострадание, терпимость, великодушие — худо будет отечеству, хуже,

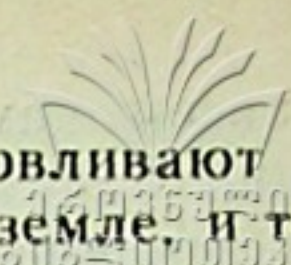
чем от нашествия самого жестокого врага. Знай это!
Помни! Бойся! Страшись!

— Боюсь! Боюсь! И тоскую по маме. И к черту все, пусть сгинет и провалится, — говорит наглотавшийся дыма, заслонясь черными от сажи руками.

— Прекрасно, — прерывает его «фехтовальщик», тыча «шпагой» в зловонный воздух. — Надо бояться. И надо по матери тосковать. Если не помнишь о матери и если ничего не боишься, то, значит, жизнь не имеет для тебя никакой цены. Стосковаться по матери — человеческая черта. Побеждать страх — геройство. Лишь тогда все, что есть в нас дурного, на занного временем, прогнившего от страха, обессиленного нуждой, окаменелого от одиночества — отсеется, уйдет навеки. Умрет перед нашими глазами, чтобы и мы почувствовали, осмыслили, извелили силу смерти, ее беспощадность, и берегли как зеницу ока оставшееся, спасенное. Берегли, отбивали от смерти, врага, ночи... Пока мы в силах, пока есть еще у нас зубы, ногти, слюна, не уступали ни пяди, ни капли нашей души, совести, любви, ненависти... Или иначе, чтобы мы никогда не покидали своего окопа — но только того окопа, в который засадит нас сама судьба. И еще, слава Богу, вспомнил! Никогда, никогда, никогда, слышишь? Что бы ни случилось, кто бы ни приказывал, кто бы ни принуждал, кто бы ни просил — не присваивай того, что тебе не принадлежит, что нельзя присвоить.

Но другой, наглотавшийся дыма, с измазанными в саже руками, уже бежал в сторону Сигнахи с комком в горле и боялся даже оглянуться, — чтобы не повернуть, заливаясь слезами, назад, к своему несчастливому, мучительному, обманутому, пренебреженному прошлому, к своему детству, которое, возможно, стояло в дверном проеме старой церкви и смотрело, печально улыбаясь, на своего продолжателя, на свое грядущее. А он, грядущий, не успел еще взбежать на второй виток подъема, как услышал фыркание и ржание лошадей и опромет бросился в кусты. И лишь после подумал: «Я должен спастись. Я непременно должен спастись». А его пятнадцатилетнее прошлое вернулось к огню, который горел не для того, чтобы греть, а для того, чтобы помочь привыкнуть к холоду, к вечному холоду, к смерти. Он знал, чувствовал, верил, что до конца, до кончины оставалось

совсем немного. Скоро, очень скоро все должно было кончиться — или иначе, должна была начаться совсем новая полоса его жизни, время спасенной, осмысленной, целеустремленной и потому обязательной, неизбежной, неприменной жизни. Он уже с нетерпением ожидал той великой, священной минуты, когда он, однажды уже родившийся слепым, должен был родиться вновь, на этот раз сознательно, по своей воле, с раскрытыми до боли глазами — и теперь уже неизбежно объединилось бы, слилось бы в одно из двух половин разорванное надвое безжалостной и жестокой жизнью его существо. И в самом деле — тотчас же кто-то (допустим, лейтенант Роланд, муж Ламары) позвал снаружи: «Сдавайся, нет смысла сопротивляться». А между тем для него именно имело смысл сопротивление. Сдаться значило обречь себя на новые скитания по угрюмым владениям смерти, продлить бессмысленные сны и видения пусть хоть на несколько дней или даже несколько часов, — но он уже принадлежал жизни и до смерти ему не было больше никакого дела. Вот почему он выбежал из старой церкви с высоко поднятой головой — уверенный, что раз он не сдается, в него непременно, вынужденно, будут стрелять. Так оно и случилось, так как прежде чем выскочить из развалин, он выбрал наперед среди осаждавших того, кто наверняка не стал бы его щадить, кто с легкостью обрек бы его на гибель хотя бы из-за своей жадности и из-за своей трусости. Правда, лейтенант сразу крикнул: — «Не стреляйте!» (догадался, верно, в чем было дело), но Гогия был бы не Гогия, если бы упустил такой прекрасный случай — ведь перед тем, как спустить курок, он, конечно, подумал не о том, что перед ним, как никак человек и ему, возможно, придется отвечать за убийство, а лишь о том, дадут ему награду или нет. Награду, однако, ему не за что было давать, потому что сама смерть оказалась на этот раз перечеркнутой, упраздненной — ведь если один Нико умер, то другой родился. «Рожденный» парил в поднебесье на крыльях разума и смотрел сверху на «мертвого» глазами, полными слез жалости. А «мертвый» лежал на земле ничком, раскинув руки, и ветер развеивал завернувшуюся полу его пальто, — словно он только что свалился с неба, грянувшись оземь из-за собственного неразумия, непослушания, нетерпения. А в действительности оба они и



сейчас — одно, они неразлучны, они обуславливают и дополняют друг друга; то, что осталось на земле, и то, что взвилось в небо, представляют собой нечто единое, раз навсегда отлившееся — мысль, понятие или образ, только лучшая часть целого парит на крыльях разума, а худшая валяется ничком на земле.

Гогия все еще стоял на коленях, лицо и руки у него были перепачканы кровью. Араминдара вытирал ему кровь пучком сухой травы. Отец Гогия и Несва гонялись за перепуганными лошадьми. Лейтенант и Грдзело стояли над валявшимся мертвецом. А он, «рожденный», улетал вдаль в беспредельном небе — вместо всех, кого судьба заперла в каменном гнезде, лишив их способности взлететь из него. Он летел, летел, — у него спирало дыхание, мурашки ползли по телу, слезились глаза — он летел, но не отдалялся от земли, а напротив, еще сильнее чувствовал землю, еще необходимее становилось для него существование земли, так как, вися вот так в поднебесье, он вообще не был ничем ни для врагов, ни для друга, ни для прошлого, ни для будущего. Полет — это осмысленное перемещение в пространстве — но только от земли к земле; земля не только дает первый толчок, но и венчает, завершает полет и поэтому запрет возвращения на землю — не меньшая жестокость, чем лишение способности взлететь. И он уже глядел сверху на землю с вожделением — усталый, замерзший, ослепший от слез — и думал лишь о том, как бы при спуске не зацепиться за ветви деревьев, не провалиться в овраг, не запутаться в колючих кустах. До него уже доносилось тяжелое дыхание земли, ее крепкий, жирный запах бил ему в ноздри, и он, затаив дыхание, ждал той минуты (как однажды на велосипеде Лео), когда он рухнет на ее бугристую, шероховатую поверхность, обдирая себе колени и локти. Потом он с трудом поднялся на ноги, кое-как отряхнул одежду и с колотящимся сердцем, всхлиывая и часто стуча зубами, направился к мосту через лощину в надежде, что кто-нибудь подвезет его до Сигнахи, откуда он только что «слетел» сюда. Дедушке, разумеется, он не мог показаться на глаза в таком виде — весь ободранный и перепачканный. Дедушка пришел бы, конечно, в ужас и пришлось бы еще его самого приводить в чувство; он только еще больше замучил бы и без того измученного Нико ахами, охами и не-

нужной суетой; сам бы извелся и довел бы до полусмерти Нико расспросами, выяснением мельчайших подробностей — пока, наконец, не убедился бы, что внук его спасся, уцелел и не подвергается больше никакой опасности. А помочь внуку по-настоящему сейчас никто не мог, кроме его бабушки. — и он инстинктивно, не раздумывая, спешил к той, от кого ждал помощи...

Окончание следует

Перевод Элисбара АНАНИАШВИЛИ



* * *

СЫНУ

Взлетает в небо новая луна —
Ночная птица, значит ночь наступит,
Серебряная новая луна,
Такую даже бабушка не купит.
Луна ночами разгоняет мрак,
А днем у ней других забот немало,
Я не могу поймать ее никак,
Твоя пустая клетка заскучала,
Твоя мечта, томления полна,
Сама готова превратиться в птицу,
Такою же, как новая луна,
Чтобы заставить взрослых удивиться.
Но только нам с тобой двоим видны
Серебряные перья все из света,
И что луна прекраснее луны,
Ты никому не растолкуешь это.

Фрагмент детства

Лежу в лачуге, крытой осокой.
Мне только пять,
Но я вступил уже в поединок со смертью.
Я должен вот-вот ощутить ее вкус,
Чтоб запомнить его навсегда.
В мутно-молочном тумане
Порхают звезды
Красногрудыми птицами
Ко мне в изголовье.
Одна за другой садятся по обе стороны,
Измученный жаждой,
В агонии,
Легкий, как высохшая былинка,
Вижу: тянется из тумана
Медленно чья-то рука

Все ближе, ближе.
Вдруг из каждого пальца, как из бутона,
Вылезает по пять цветков,
По пять разноцветных цветков.
Кажется, не рука, а пестрый букет
Ко мне приближается.
Посреди лачуги растет в очаге куст огня.
Перед этим кустом
Сидит отец, понутив голову.
По углам притаились испуганно сестры.
Они следят за мной с таким любопытством,
Словно я играю в незнакомую им игру.
Пламя вздымается из очага,
По одеялу ползет
И постепенно сжирает
Вышитого на нем синего зайчика.
Не понимаю, что со мной происходит,
Не сознаю опасности.
Не чувствую страха.
Как однако легко умирать...
А звезды летают все медленнее над кроватью,
А в доме напротив
Поют колыбельную сладко.
Лежу, окруженный покоем,
Теплом, благодатью.

Слова «умирает... прощайтесь» звучат, как загадка.
О чем плачет мама,
Какой-то измучена болью?
Взлетаю все выше и выше
Над домом,
Над лесом
И вижу: внизу подо мной
Затуманилось поле, —
Там белые кони
Пасутся в тумане белесом.
Я неподвижно парю над землей.
Неистово льется дождь,
Но обходит меня, не задев ни единой каплей.
Кажется, я покоюсь
В стеклянном прозрачном саркофаге
Под хрустальным покрывалом,
Подоткнутым по краям.

Прошлое сохранило эту картину:
Смертельно-бледный ребенок —
В круговерти бескрайнего пространства,
Заполненного дождем.

* * *

Тихо снежинки расправили крылья,
С мягким шуршаньем пустились в полет.
Свет рассыпается искристой пылью,
Темно-фиалковый воздух поет.
Как ты красива в лиловом сиянье!
Снова ровесников сводишь с ума,
Ходишь опять вдоль Куры стройной ланью,
Ты без ума от себя и сама.
Водная гладь возвращает на небо
Отсвет луны, отражение звезд.
Лепит ребенок урода из снега.
Двое прохожих плетутся на мост.
Двое невзрачных подруг у Сиони
Медленно, грустно, бесцельно бредут.
Только к тебе эта жизнь благосклонней,
Только тебя ждут покой и уют.
Точно из пыли вечернего света
Сотканы небо, луна и река,
Точно связала вселенную эту
Снежными нитями чья-то рука.
Все здесь миражно: пейзажи и лица,
Смутны и призрачны, как волшебство.
Кажется, дунешь —
И все разлетится,
Кажется, глянешь —
И нет ничего.

Перевод Ларисы ФОМЕНКО



Убийца проживает в 21-ом номере

РОМАН

ГЛАВА VI

«С-М-И-Т, СМИТ!»

— Алло!

— Редакция «Ивнинг Пост»? Соедините меня с редактором, пожалуйста!

— А кто это говорит?

— Это мистер Миллер.

— Минуточку!

— Алло!

— Это редактор «Ивнинг Пост»?

— Да, с кем я говорю?

— С мистером Смитом! Смитом! С-М-И-Т-О-М!

Пришлите, пожалуйста, своего репортера на площадь Рассела, номер 21. Я здесь живу и только что убил одного забавного ученого.

— Что, что?.. Алло! Алло!.. Черт возьми, Джонни. Только что позвонил какой-то тип, назвавшийся мистером Смитом. Он утверждает, что живет на площади Рассела, кажется в двадцать первом номере, и что только что он совершил там убийство!

— Выбрось из головы, это кто-то пошутил.

— Алло, «Дейли телеграф» слушает вас...

— Вам звонит один из ваших читателей. Соедините меня, пожалуйста, с редактором.

— А что вы хотите?

Продолжение. Начало см. в № 7.



- Я звоню по сугубо личному вопросу.
- Тогда подождите минуточку, пожалуйста!
- Редакция «Дейли телеграф» слушает...
- Срочно пришлите своего репортера на площадь Рассела, номер 21, в пансион «Виктория». **Мистер Смит**, живущий здесь, только что совершил свое восьмое убийство!
- А кто это говорит?
- **Мистер Смит** собственной персоной!
- «Найт энд Дей» слушает вас.
- Соедините меня, пожалуйста, с секретарем редакции... Это мистер Миллер.
- Подождите минуточку, пожалуйста.
- Алло!
- Секретарь редакции?
- Сейчас передам ему трубку... Это вас, Перси!
- Черт возьми... Алло! Кто это говорит?..
- **Мистер Смит! Смит! С-М-И-Т!** Хочу сообщить вам, что я только что совершил свое уже восьмое по счету убийство, в пансионе «Виктория» — это на площади Рассела, 21.
- Черт возьми!.. Одну минуточку, не вешайте трубку! Вы говорите, в пансионе «Виктория», на площади Рассела, номер 21?
- Да. Кстати, я здесь же и живу.
- Вы там... Что, что?..
- Я там живу. И еще. Если вы посвятите мне первую страницу, я, возможно, пришлю вам когда-нибудь свои воспоминания.
- Я непременно посвя... Алло! Алло!.. Поль, немедленно звоните Лоусону. **Мистер Смит** только что сообщил мне, что совершил свое восьмое по счету убийство.

ГЛАВА VII.

ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР

Положив голову на спинку кресла, профессор Ла-ла-Пур сидел неподвижно, как статуя. На его закрытые веки падал свет от лампы. Что же касается мистера Коллинза, то он, напротив, сидел на краешке стула и, казалось, готов был вскочить при малейшей тревоге. Доктор Хайд, как обычно, с непроницаемым видом

склонился над своим медицинским справочником. Миссис Хобсон, прижимая к губам смоченный одеколоном носовой платок, невольно переводила взгляд с одного присутствующего на другого. В ее глазах читался вопрос. Майор Фэрчайлд, заложив руки за спину, большими шагами расхаживал по гостиной. Отложив свою вышивку, мистер Андреев стал просматривать «Таймс». И лишь миссис Крабтри машинально продолжала раскладывать свой пасьянс: время от времени она бросала гневные взгляды на своего мужа, на которого привыкла сваливать ответственность за все злодеяния, совершаемые этими разбойниками — мужчинами.

Никто, тем не менее, не произносил ни звука, и все прислушивались к малейшему шороху.

Полиция приехала в пансион минут двадцать тому назад. Пол в комнате убитого шатался под тяжелыми шагами инспекторов.

В комнате убитого! Миссис Хобсон была уже больше не в силах выносить все это:

— Никак не могу понять! За ужином он ведь еще был жив и с виду был такой безобидный... Бедный, бедный месье Жюли!

— Вы уже говорили это! — буркнул майор.

Это неосторожное замечание вызвало бурю возмущения у миссис Крабтри:

— Я всегда подозревала, что вы — человек бессердечный, майор Фэрчайлд. Теперь я вижу, что не ошиблась!

— Я не более бессердечный, чем кто-либо из присутствующих здесь, но во всяком случае не такой бессердечный, как вы! — ответил майор, внезапно прекращая свою прогулку вокруг стола. — Тем не менее, я оцениваю вещи, в том числе и человеческую жизнь, реально. Не забывайте, что я двадцать два года провел в Индии, и что...

— Ну как же можно позабыть об этом! Ведь вы напоминаете нам об этом по сто раз на день!

— Ради Бога! Перестаньте ссориться! — попросил мистер Андреев, откладывая свою газету. — Нам лучше подумать, кто бы мог совершить это убийство.

— Мне к-к-кажется, что это д-д-дело полиции! — сказал мистер Коллинз.

— Несомненно... Но и наше тоже!

— П-п-почему же?

— Потому что, как призналась наша хозяйка, в-
чером в пансион не мог проникнуть никто из посто-
ронних... Выводы делайте сами!

— Не хотите ли вы сказать?.. — начала было мис-
сис Хобсон, но доктор Хайд перебил ее своим холодным,
едким голосом:

— Андреев прав. Убийцей может быть лишь один из
нас!

— Да что вы такое говорите, доктор Хайд!

— Вы оскорбляете нас! — воскликнул майор.

Доктор Хайд успел лишь улыбнуться в ответ, по-
скольку в этот момент раздались шаги полицейских,
спускающихся по лестнице.

— В таком случае, будьте готовы услышать по-
добное оскорбление от копающихся наверху шпииков!
Они, вероятно, пришли к тем же выводам.

Едва он произнес это, как в комнату вошел инс-
пектор и сообщил:

— Старший офицер Стрикленд просил никому из
комнаты не выходить, прежде чем он не проведет до-
прос.

Посторонившись, он пропустил в комнату мисс Хол-
ленд и мисс Паутер, уже успевших лечь спать. Но им
пришлось подняться и одевались они явно в спешке.

— Мне поручено выяснить у каждого из вас, чем
вы занимались после ужина.

— Ну и?.. — задал Стрикленд свой коронный вопрос.

Осмотрев склеры, доктор Ханкок закрыл глаза
убитого. Затем он снял свое пенсне и протер его ку-
сочком замши, вынутой из жилетного кармана.

— Что именно вы желаете узнать от меня?

— Прежде всего, в котором часу было совершено
убийство.

— Думаю, что показания жильцов смогли бы уточ-
нить время совершения преступления. Я же полагаю,
что оно было совершено между восемью и девятью ча-
сами вечера, скорее всего около восьми тридцати.

— Мгновенной ли была смерть?

— У меня имеются все основания полагать, что
мгновенной.

Указав на оружие, которым было совершено

преступление и которое теперь находилось в осторожных руках специалиста по дактилоскопии, Стрикленд спросил:

— Вы, вероятно, знаете, что это за нож?

Доктор Ханкок водрузил свое пенсне на место и ответил:

— Разумеется. Это один из скальпелей, известных в хирургии под названием ампутирующий нож.

— Такой нож ведь нелегко раздобыть, верно?

— Для того, кто не имеет отношения к медицине, раздобыть его, несомненно, сложно.

Стрикленд внезапно отвернулся от доктора:

— Ну что там с отпечатками пальцев, Харрис?

— Ни единого отпечатка, мистер. Преступник, должно быть, тщательно протер оружие и прикасался к нему только в перчатках.

— Позвольте я взгляну, — буркнул Ханкок.

Подойдя к углу умывальника, на котором лежал скальпель, он согнулся вдвое, чтобы получше рассмотреть его.

— Мне кажется, что убийца воспользовался медицинскими перчатками из тонкой резины, — заявил он, выпрямляясь. — Если понадобится, хоть весь дом переверните, Стрикленд, но найдите эти перчатки! Они-то и смогут привести своего владельца на виселицу.

— Но каким это образом?

— Когда человек испытывает сильные эмоции, например, гнев, страх или желание убить, то в его железах повышается секреторная функция и расположенные на кончиках пальцев железы, выделяют пот. Возможно, этот пот остался внутри перчаток.

— О'кэй, доктор! — сказал Стрикленд и обратился к фотографу, складывавшему свои установки.

— Закончили уже, Джон?

— Да, мистер.

— Сколько вы сделали фотографий?

— Восемь.

Теперь тело убитого совсем покосилось. Наклонившись, Стрикленд порылся у него в карманах и достал оттуда клетчатый носовой платок, записную книжку с заметками на французском языке, простой карандаш с колпачком, связку ключей, перочинный ножик, английские и французские монеты и коробку таблеток от ка-

шля. Стрикленд продолжил поиски в надежде обнаружить бумажник жертвы и тут-то на ковер выпала визитная карточка.

«Отлично! — подумал он, быстро поднимая ее и мельком бросив на карточку взгляд. — Выходит, преступник подписался и под этим убийством!»

Теоретически можно было предположить, что по какому-то невероятному стечению обстоятельств в 21 номере на площади Рассела живут два преступника. Но наличие визитной карточки мистера Смита и кража бумажника отклоняли такую гипотезу.

— С какой комнаты начнем? — спросил инспектор Фуллер.

Взгляд Стрикленда опустился на испачканный кровью скальпель.

— С соседней, с комнаты доктора Хайда.

Инспектор Мордонт расположился в читальном зале, окна которого выходили на улицу. Опросив миссис Хобсон, мисс Холленд и мисс Паутер, он вызвал к себе майора Фэрчайлда.

Отставной офицер вошел в комнату решительным шагом. Усы его воинственно топорщились, будто бы угрожали какому-то невидимому врагу.

— Простите мне мое чисто профессиональное любопытство, майор Фэрчайлд, — любезно начал беседу Мордонт, — и скажите, пожалуйста, чем вы занимались после ужина?

Майор выругался сквозь зубы и ответил:

— Ничем! Абсолютно ничем!.. Если только вы не рассматриваете чтение «Таймс» как серьезное занятие!

— Вы хотите сказать, что после ужина вы все время сидели в гостиной и ни разу никуда не отлучались?

— Я не только не выходил из гостиной, но и вообще не вставал со своего кресла! А если бы даже я и отлучался куда-нибудь, то мое звание должно было бы защитить меня от ваших подозрений!

— Тысяча извинений, майор! Ах, если бы только вы были последним, кто упрекает меня в том, что я точно исполняю приказы своего начальства!

Тут майор смягчился:

— Вот такой разговор мне уже больше по душе, молодой человек! Не забывайте, что я могу помочь вам!

— Да, действительно! Быть может, вы заметили что-то такое, что ускользнуло от внимания остальных?

— Чтобы этого не заметить, нужно было закрыть глаза и заткнуть уши! За десертом мистер Андреев хвастался тем, что он-де и есть мистер Смит! После этого не прошло и четверти часа, как доктор Хайд убеждал нас, что убийцей может быть лишь один из нас!

— Это интересное наблюдение. Скажите, а кто-нибудь, за исключением мисс Холленд и мисс Паутер, выходил в течение вечера из гостиной?

— Дайте-ка подумать!.. — майор задумчиво начал крутить свой ус. — Мистер Коллинз поднимался в свою комнату якобы за сигаретами, как он нам сказал... Андреев тоже выходил, не говоря нам зачем... Миссис Крабтри послала своего мужа в комнату за теми тремя колодами карт, которые ей были необходимы для раскладывания пасьянсов... Да и «паяц» с врачом тоже куда-то выходили... А вот куда и зачем, это вы уже у них сами спросите! Может, им просто не сиделось на месте.

— А кого вы имеете в виду, говоря «паяц»?

— Да этого, профессора Лала-Пура, разумеется. Знаете, я несколько бы не удивился, если бы узнал, что его на самом деле зовут Брауном или Миллером и что он родился где-нибудь под Путнеем! Я пытался говорить с ним и на хинди, и на гуахарти, и на пенджаби... Но он не понял ни слова!

Инспектор поблагодарил майора за ценную информацию и вызвал мистера Андреева.

— А мы, случайно, с вами нигде не встречались? — поинтересовался Мордонт.

— Думаю, что нет.

— Но мне почему-то очень знаком ваш голос.

Протянув инспектору раскрытый портсигар, Андреев спокойно ответил:

— Мой голос вы могли слышать в «Капитолии», «Империи» или же каком-нибудь другом кинотеатре. Я озвучиваю на дубляже русских киноактеров в английских вариантах иностранных фильмов, вспоминая акцент своих предков. Вы смотрели «Ласточку»? Там я тонировал Великого Князя.

— Ну конечно же, смотрел! — воскликнул Мордонт. — И еще вы дублировали Пьера Авила в «Поте-

рянной короне»! Позвольте выразить вам свое восхищение.

— Большое спасибо. Значит, вам понравилась «Потерянная корона»? А мне, знаете ли, нет. Она как-то фальшива — от начала и до конца.

— Возможно, но только за исключением финальной сцены...

— Ну, эта сцена слишком уж оптимистична. Родившаяся летом любовь умирает вместе с летом.

Мордонт с тоской вспоминает о том, что ему пора вернуться к исполнению своих обязанностей.

— Работа в кино, должно быть, познакомила вас с методами нашей работы? — шутливо сказал он. — Так что, надеюсь, вы не обидетесь, если я спрошу у вас отлучались ли вы в течение вечера из гостиной?

— Да, я выходил на несколько минут.

— Зачем?

— Да я, по-правде сказать, уже и не помню. Просто сидение на одном месте начало тяготить меня, да и присутствие остальных пансионеров, честно говоря, тоже. Но на прогулку мне не хотелось идти. Поэтому я поднялся к себе в комнату, в надежде найти там себе какое-то занятие. Но поскольку корреспонденцию я уже разобрал до этого, а батареи отопления грели плохо, то я вскоре решил вернуться в гостиную.

— А пока вы находились наверху, вы не слышали ничего необычного?

— Кажется, нет... Нет, ничего...

— И вы ни с кем не сталкивались на лестнице?

— Ни с кем... А впрочем, когда я спускался, то видел, как мистер Коллинз входил в ванную.

— В котором часу это было?

— Вот этого я вам не могу сказать... Из-за стола мы встали без четверти восемь... Ровно в восемь мисс Паутер и мисс Холленд пошли спать... Майор Ферчайлд вышел из гостиной около...

— Вы уверены в том, что майор выходил из гостиной? — встрепнулся Мордонт.

— Совершенно уверен. А что, он утверждает обратное?

— Нет, нет! — машинально вырвалось у инспектора. — Так что же было дальше?

— Ну разве я могу все точно припомнить! — вздо-

хнул русский. — Дальше мистер Коллинз попросил приготовить ему настой из ромашки, а затем... Ах, да!.. Миссис Крабтри считает своим долгом сообщить нам, сколько показывают ее наручные часы всякий раз, когда бьют настенные.... У меня до сих пор звучит в ушах ее голос: «Уверяю вас, дорогая, что сейчас тридцать пять минут!» — говорила она как раз, когда я выходил из гостиной.

— Это весьма важное уточнение, мистер Андреев. А кто в этот момент находился в комнате?

— Кто?.. Ну миссис Хобсон, миссис Крабтри, мистер Крабтри, майор Фэрчайлд.

— Выходит, он уже успел вернуться к тому времени?

— Да, он отсутствовал минут семь-восемь, не больше... А еще в гостиной сидел наш друг факир и доктор Хайд... Нет, не Хайд!.. Ей-богу, я уже не помню!

— Ну это уже не столь важно, мистер Андреев. Вы и так сообщили нам весьма важную информацию. Мне остается только задать вам последний, весьма деликатный вопрос. За ужином вы сказали, что мистер Смит — это вы сами... Вы признаете этот факт?

— Разумеется.

— Что побудило вас сказать подобную вещь?

Мистер Андреев расхохотался своим смехом казака и ответил:

— Вот поживете здесь денька три, тогда посмотрим, что вам самому захочется им сказать!

Мордонт внимательно посмотрел на своего собеседника и, в конце концов ответил:

— Я понимаю вас. Вам нетрудно будет попросить сюда профессора Лала-Пура?

— Нет, конечно! Кстати, я думаю, что вы дорожите своим обручальным кольцом?

— Моя жена очень дорожит им, — ответил Мордонт.

— Тогда спрячьте его себе в носки! Иначе Лала-Пур превратит его в крышечку от чайника!

— Вот нашли — докторский саквояж с инструментами, — сказал Фуллер.

— Дайте-ка его сюда! — приказал Стрикленд, протягивая руку.

Открыв саквояж, он передал его доктору Ханкоку:
— Чего здесь, по-вашему, недостает, доктор?
Ряд сверкающих лезвий был разделен пустой ячейкой.

— Скальпеля! — ответил Ханкок.

ГЛАВА VIII.

МЕЖДУ ВОСЬМЬЮ И ДЕВЯТЬЮ ВЕЧЕРА

В комнату неторопливо вошел доктор Хайд с медицинским словарем под мышкой:

— Добрый вечер, господа! — поздоровался он, окинув ироничным взглядом открытые ящики, шкафы и разбросанную постель. — Ну, как вы нашли мои пижамы?.. Я предпочитаю, чтобы они были миндально-зеленого цвета.

Стрикленд, закрывавший своей мощной спиной стол, взял с него какой-то завернутый в тряпочку предмет.

— Добрый вечер, доктор Хайд! — сказал он как можно более официальным тоном. — Должен вас предупредить, что ваши ответы смогут обернуться в обвинение против вас же самого... Вы узнаете этот предмет?

Стрикленд надеялся таким способом сразить своего собеседника, однако его постигло разочарование.

— Ничто так не похоже друг на друга, как один хирургический инструмент на другой такой же, однако ваш торжественный вид заставляет меня думать, что именно этот скальпель принадлежит мне.

— Убитый был обнаружен в 21.00, а мы прибыли двадцать минут спустя. Не хотите ли вы сказать, что не полюбопытствовали за это время и не осмотрели тело?

— Ну почему же, я видел это тело... и оружие тоже! Однако миссис Хобсон находилась в таком состоянии, что мне понадобилось принять безотлагательные меры. Должен сказать, что живые интересуют меня гораздо больше, нежели мертвые. Что же касается скальпеля, то я подумал, что если он даже и взят из моего саквояжа, то вы сами рано или поздно это обнаружите!

— Короче говоря: вы отрицаете свою причастность к преступлению?

— Скажем так: я просто играю! Ибо, если верить в существование определенной закономерности, то первый, на кого падает подозрение, редко оказывается настоящим преступником.

Стрикленд нахмурился. Своими насмешками доктор Хайд усложнял его задачу.

— А кто из пансионеров знает место, в котором вы храните свой инструмент?

— Думаю, что все. Ведь я не делаю из этого никакой тайны.

— Имеются ли у вас резиновые хирургические перчатки?

— Да, у меня есть одна пара перчаток, по правде говоря, уже довольно изношенная. А что, она разве тоже исчезла? Перчатки лежали рядом с инструментом, в зеркальном шкафу.

Тут Стрикленд вспомнил, что не задал еще самый главный вопрос:

— Чем вы занимались после ужина?

— Прежде всего заткнул уши ватой, чтобы обезопасить себя от болтовни миссис Крабтри, а затем освежал свои воспоминания об эволюции лицевого отека.

— А почему вы не ушли к себе, раз уж общество остальных пансионеров было вам столь невыносимым?

— Я и сам не знаю. Вероятно, я боюсь одиночества.

— Выходили ли вы куда-нибудь из комнаты между восемью и девятью часами вечера?

— Да, выходил минут на десять.

— И где же вы были?

— В комнате месье Жюли.

Доктор Ханкок удивленно вскрикнул, а Стрикленд совершенно спокойно спросил:

— В котором это было часу?

— Не имею ни малейшего понятия.

— Надеюсь, в то время убитый был еще жив?

— Вполне, — ответил доктор Хайд, пожимая плечами. — Можно даже сказать вдвойне жив, если учитывать, что страдание присуще лишь живому. Я как раз поднимался к себе в комнату, чтобы взять тетрадку, содержащую некоторые собственные записи о наблю-

дени клинических случаев и тут из своей комнаты вышел месье Жюли. Он был очень бледен и прислонился к дверному косяку. Я спросил его: «Вам что, плохо?», но он, не в силах ответить, лишь жестом позвал меня. Потом он пожаловался, что страдает сердечной недостаточностью и что он после разговора за ужином сильно разволновался. Месье Жюли боялся, что может потерять сознание. Измерив его артериальное давление, я заверил его, что обморока можно не опасаться. И все же я констатировал коллапс. Уложив месье Жюли, я пошел в свою комнату и принес ему лекарство, которое посоветовал принимать регулярно.

— И что же это было за лекарство?

— Таблетка на базе высоких аминов... Она оставалась у меня последней.

— А что, в подобных случаях прописывают именно это лекарство? — вмешался доктор Ханкок.

— Не совсем это. Я предпочел бы дать ему что-нибудь сильнодействующее, однако мой запас медикаментов поистощился.

— Дайте, пожалуйста, доктору Ханкоку пузырек или коробочку от тех таблеток, — сказал Стрикленд.

Подойдя к камину, доктор взял с него маленькую круглую коробочку:

— Вот она, но только знайте, что то лекарство продают обычно в другой, большей упаковке.

— Куда же вы дели ту упаковку?

— Выбросил, когда от ее содержимого осталась одна четверть и переписал формулу таблетки на эту коробку.

— Одну лишь формулу?

— Конечно! Все эти варварские названия, которые носят наши медикаменты, следует как можно скорее забывать.

— Весьма жаль! А это ваше... безымянное лекарство случайно не входит в группу снотворных?

— Это медикамент, способствующий повышению жизнедеятельности.

— И все же, мог ли месье Жюли заснуть, приняв это лекарство?

Доктор Хайд жестом показал, что этого он знать не может.

— А не советовали ли вы месье Жюли растворить эту таблетку в какой-нибудь жидкости?

— Нет, я просто положил перед ним на стол таблетку и вышел.

— И все же, можно предположить, что месье Жюли выпил ее с водой.

— Предполагайте что хотите! Я не обладаю даром предсказателя, как Лала-Пур!

Нацарапав на листочке бумаги пару слов, Стрикленд сложил его вдвое и передал доктору Хаинкоку. Последний, прочтя записку, согласно кивнул головой. На листочке было написано следующее:

«Попытайтесь при вскрытии отыскать следы лекарства».

— По правде сказать, я не понимаю, какие причины могли толкнуть вас принять участие в судьбе месье Жюли, — продолжил Стрикленд. — Вы ведь, похоже, больше не занимаетесь врачебной практикой? Я хочу сказать, вы ведь были лишены права практиковать.

— Откуда вам это стало известно?

— Сорока на хвосте принесла. А еще я знаю, что вы были приговорены к каторжным работам.

— Вы что же, начинаете следствие еще до того, как совершается преступление?

Стрикленд закусил губу от досады. Пока еще рано было выкладывать карты на стол и публично объявлять о том, что преступление совершено мистером Смитом. Ведь тогда весь Лондон будет кричать о бессилии полиции и с виду такое заявление будет выглядеть вполне обоснованным.

— Вы не ответили на мой вопрос. Почему вы решили помочь месье Жюли? Ведь вы не из тех людей, которые подвержены чувству жалости и сострадания. Не так ли?

Доктор Хайд резко распрямился:

— Вы ошибаетесь! Вся моя жизнь оказалась искалеченной именно потому, что я пожалел одну женщину.

В этот момент в дверь постучали и на пороге показался инспектор Берд.

— Я обнаружил бумажник убитого, но он пуст.

— Где он был?

— Валялся во дворе, в углу.

— Его, должно быть, попросту выбросили туда из

окна. Теперь Харрису еще подвалила работа. Будем надеяться, что не напрасная!

Берд собирался уже выйти, но Стрикленд ^{ОКЛИКНУЛ} его:

— Обыщите-ка еще раз комнату месье Жюли. И постарайтесь найти там таблетку, размером с пенни. И еще: выясните, не пользовался ли месье Жюли перед смертью стаканом с водой.

Понимающе кивнув головой, Берд вышел и чуть было не столкнулся с мчащимся вверх по лестнице своим коллегой Стори.

— Я только что из подвала, — сообщил Стори, входя в комнату. — Дафна, здешняя кухарка, говорит, что около 20.45 почувствовала исходящий от калорифера запах горелой резины.

«Это наверняка перчатки!», — тут же пронеслось в голове у Стрикленда.

— А кто из пансионеров приближался к калориферу?

— Насколько мне известно, таких трое, мистер.

— Назовите мне их поименно!

— Прежде всего это мисс Холленд, зашедшая к Дафне на кухню около восьми часов, чтобы попросить немного молока для своего кота. Затем профессор Лала-Пур. Он, похоже, получил благосклонное разрешение миссис Хобсон держать на чердаке семейство белых кроликов и с утра до ночи кормит их зеленым салатом. Ну и, наконец, туда заходил еще мистер Коллинз. Мэри столкнулась с ним, когда он уже шел вверх по лестнице. Это было около 20.35. Она сказала, что у него был несколько смущенный вид и он начал несвязно бормотать какие-то извинения.

— Очень хорошо! Приведите Коллинза в комнату, в которой было совершено преступление, а тем временем, в его отсутствие, переверните все его вещи.

Сидя на ручке кресла, доктор Хайд рассматривал потолок.

— Кстати, о Коллинзе, — небрежно сказал он. — Сегодня после обеда он изъявил желание посмотреть мои хирургические инструменты.

Тем временем инспектор Мордонт беседовал с профессором Лала-Пуром, не зная о событиях, происходящих на этаже.

— Вы, конечно, не обязаны отвечать мне на этот вопрос, профессор. И все же мне хотелось бы знать, из какой именно провинции Индии вы родом?

— Из Сирсы, естественно, — не задумываясь ответил предсказатель.

— Это в Бенгалли?

— Нет, в Пенджабе.

— Интересно! А вот майор Фэрчайлд утверждает, что обращался к вам на пенджаби, но не услышал ответа.

И тут впервые за все время беседы губы индуса расплылись в улыбке:

— Конечно же я не мог ответить ему, инспектор.

— Почему?

— Бедняга пребывает во власти иллюзий! Наш дорогой майор думает, что умеет говорить на пенджаби!

ГЛАВА IX.

«IL V...»

— Вы хотели поговорить с нами, инспектор?

— Вы, очевидно, неверно поняли меня, — ответил Мордонт, отодвигая свой стул. — Мне хотелось бы побеседовать с каждым из вас по отдельности.

Но миссис Крабтри, несколько не вняв этому пожеланию, продолжала решительно и твердо наступать на инспектора:

— Значит так, инспектор! У моего мужа от меня нет секретов. Эрнест, отвечай на вопросы инспектора со всей откровенностью.

— Непременно, моя дорогая.

Мордонт терпеливо пустился в объяснения:

— Боюсь, я непонятно выразился. Я...

— Нет, нет, вы не беспокойтесь — мы все прекрасно поняли! Вы хотите узнать, как мы проводили вечер? Что ж, это вполне естественно! Но вам придется убить целый час, чтобы заставить Эрнеста хоть что-нибудь сказать. Я уже восемнадцать лет окружаю его вниманием и заботой, так что он привык во всем полагаться на меня. Мужчины — это большие дети и, кроме того, страшные эгоисты! К вам, инспектор, это, естественно, не относится. Вы выглядите таким решительным, таким сильным! А вот с Эрнестом мы познакомились в

универмаге, в отделе женского белья, где он пытался купить крем для бритья. Тогда я взяла его за руку и, со всей решительностью заявляю, что с тех пор уже больше не выпускала!..

Мордонт в изнеможении вновь опустился на свой стул.

— Скажите пожалуйста, мистер Крабтри, выходили ли вы куда-нибудь из гостиной после ужина?

— Нет... — пробормотал мистер Крабтри. — А точнее, да! — сказал он и умолк.

Миссис Крабтри сочла за должное приободрить его:

— Успокойся, Эрнест! Инспектор не съест тебя. Подумай прежде, чем отвечать, но только, ради Бога, прекрати невразумительно мямлить!

— Хорошо, моя дорогая.

После этих слов последовало неловкое молчание.

Бедный мистер Крабтри то краснел, то бледнел, а что касается самой миссис Крабтри, то она просто ликовала.

— Ну ладно, хватит! — сказала она вдруг. — Должна признаться, я обожаю раскладывать пасьянсы и особенно один южно-американский пасьянс под названием «катаракта». Вот уже три недели кряду мне никак не удается довести его до конца. Каждый вечер, около восьми часов, Эрнест поднимается к нам в комнату, чтобы взять там карты: три колоды по пятьдесят две карты. Затем он садится рядом со мной и уже никуда не отлучается. Он часами может без усталости смотреть на меня... Превосходное двойное алиби, не правда ли?

— Сколько времени отсутствовал ваш муж?

— О! Самое большее минут десять. Он сказал, что горничная переложила карты на другое место, и он никак не мог их найти.

Но тут миссис Крабтри заволновалась:

— Надеюсь, вы не станете его подозревать? Мой бедный Эрнест! Помните, в каком отделе он пытался приобрести крем для бритья.

— Я это не скоро забуду! — заверил ее Мордонт.

В комнате, в которой было совершено убийство и из которой только что вынесли тело, прислонившись к камину, стоял Стрикленд и допрашивал мистера Коллинза:

— Чем вы занимались после ужина?

— Я с-с-сидел в гостиной вместе с-с-с остальными пансионерами.

— И ни разу никуда не выходили?

— П-п-почему вы с-с-спрашиваете меня об этом?

— Чтобы знать! — невозмутимо ответил Стрикленд и посчитал должным добавить: — Не бойтесь, говорите четко.

При этих словах мистер Коллинз еще больше разволновался:

— М-м-мне бы очень х-х-хотелось говорить ч-ч-четко! Но я с-с-с детства за-за-заикаюсь.

— Это весьма печально, я не знал этого, — ответил Стрикленд и сделал вид, что испытывает неловкость.

Однако он тут же вернулся к своему допросу.

— Что вы делали на лестнице, ведущей в подвал в 20.35?

— М-м-мне не хотелось бы отвечать на этот в-в-вопрос.

— Напрасно, Коллинз! — доброжелательно сказал доктор Хайд. — Ведь всем хорошо известно, что вы ежедневно крадете по нескольку апельсинов под самым носом у Дафны!

— Это н-н-неправда!

— Это останется между нами, так что воспользуйтесь случаем и сознайтесь!

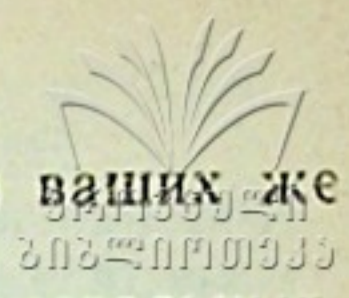
— Подобное вмешательство в разговор совершенно неуместно! — недовольно сказал Стрикленд. — Доктор Хайд, я буду вам очень признателен, если впредь вы будете отвечать только на вопросы, обращенные лично к вам!.. Что же касается вас, Коллинз, то вам лучше сознаться в этой мелкой краже, дабы не осложнять свое положение.

— Б-б-боюсь, что я не п-п-понимаю вас.

— Ну что ж, тогда объясню. Мы уверены в том, что убийца месье Жюли был в резиновых перчатках и эти самые перчатки он затем сжег в калорифере. Если вы откажетесь объяснить нам свое присутствие на кухне, мы сможем всерьез задуматься над вашей виновностью.

— Но я...

— В котором часу вы вышли из гостиной и в котором вы туда вернулись?



— Я н-н-не помню.

— А вы постарайтесь вспомнить! Это в ваших же интересах!

— Тем хуже! М-м-можете спросить у остальных, если х-х-хотите!

— А они уже мне ответили.

— И ч-ч-то же они вам с-с-сказали?

— Представьте, их показания совпадают и все утверждают, что вы отсутствовали от 8.25 до 8.40.

— Ну... р-р-раз они так говорят, з-з-значит так оно и есть!

— Чем вы занимались эти четверть часа?

— Н-н-ничем особенным! С-с-сперва я зашел к себе в комнату, з-з-затем на к-к-кухню.

— Я хочу, чтобы вы подробно рассказали, что вы делали.

— Э-э-это же с-с-смешно! Откуда я м-м-мог знать, что будет с-с-совершенно убийство?! Я не х-х-хронометрировал свои действия.

— Но ведь вы заходили к себе в комнату с каким-то определенным намерением?

— И да, и нет! П-п-просто я не п-п-помнил, кого из клиентов мне необходимо посетить завтра. Я х-х-хотел заглянуть в с-с-свой блокнот.

— Я вижу, что у вас случаются какие-то странные провалы в памяти. Только мне непонятно, какая срочность была в том, чтобы это вспоминать?

— Я х-х-хотел мысленно спланировать с-с-свой завтрашний день.

— Ну ладно, допустим, что это так! Но неужели вам понадобилось целых пятнадцать минут лишь для того, чтобы заглянуть в блокнот?

— Н-н-нет, конечно же! Я еще выкурил с-с-сигарету, размышляя о с-с-своих делах, а затем спустился на к-к-кухню...

— С какой целью?

Мистер Коллинз стал красным, как пион:

— Вы унижаете меня ради собственного удовольствия?! Ведь доктор Хайд уже объяснил вам, с какой целью я туда зашел!

Стрикленд недобрым глазом взглянул на доктора:

— Значит, вы пошли на кухню с целью кражи фруктов?

— Это н-н-нельзя называть к-к-кражей! Миссис Хобсон, человек бережливый, а м-м-мой режим питания т-т-требует, ч-ч-чтобы я каждое утро п-п-пил до завтрака апельсиновый с-с-сок.

— А вам никогда не приходило в голову покупать то, в чем вы нуждаетесь?

— Это исключено! — в очередной раз раздался ехидный голос доктора Хайда. — Если миссис Хобсон бережлива из необходимости, то у нашего друга Коллинза это врожденное!

— Ну хватит, доктор Хайд. Что вы взяли на кухне, Коллинз?

— Т-т-только один! — слова с трудом срывались с губ мистера Коллинза. — Од-д-дин апельсин...

— Берд, спросите у Стори, не нашел ли он в комнате мистера Коллинза апельсин! — приказал Стрикленд.

Инспектор тем временем рыскал по всем углам, в надежде отыскать данную месье Жюли таблетку и поэтому не успел отправиться на выполнение поручения.

— Не нужно! Это б-б-бесполезно! Я его с-с-съел.

— Уже съели? А я думал, что вы храните украденные на кухне фрукты до утра, чтобы съесть их перед завтраком!

— У в-в-всякого правила есть с-с-свое исключение!

— Прекрасно! Но ведь кожуру от апельсина вы, надеюсь, не съели? Где же она?

— Я ее в-в-выбросил! — ответил Коллинз, растерянно оглядываясь вокруг себя.

— Куда?

— Н-н-не помню.

— Вам, ей-богу, не помешали бы упражнения на развитие памяти! Ну и где же вы съели апельсин?

— Н-н-на месте!.. А ш-ш-шкурку бросил в калорифер!

— Чтобы не оставлять никаких следов?

— Д-д-да... то есть н-н-нет... Это был с-с-совершенно машинальный жест!

— Мистер Коллинз, калорифер не открывают машинально!

— Н-н-но мне не н-н-нужно было его открывать! Д-д-дверца была лишь п-п-прикрыта.

— А где в этот момент находилась Дафна?

— Н-н-на первом этаже. В-в-вместе с миссис Хобсон...

— Допустим, все это правда! Скажите, пока вы бродили по дому, вы не встретили никого, кроме Мэри?

— Нет, н-н-никого.

— А не исходил ли от калорифера запах жженой резины?

— Н-н-не знаю. У м-м-меня насморк.

Какое-то время Стрикленд сидел молча и его лицо так ничего и не выражало. Взгляд его серых глаз, напротив, казалось, хотел проникнуть как можно глубже в мысли собеседника.

— Я слышал, вы занимаетесь сбытом радиоприемников?

— С-с-совершенно верно.

— И к тому же интересуетесь хирургией?

— Н-н-не слишком.

— Почему же в таком случае вы попросили после обеда доктора Хайда, чтобы тот показал вам свой инструмент?

У мистера Коллинза был такой вид, словно он свалился с луны.

— Я н-н-не понимаю, — ответил он, так теребя при этом пуговицу своего пиджака, что чуть было не оторвал ее. — П-п-после обеда я п-п-пошел в свою комнату и н-н-никуда не выходил.

— Черт возьми! — воскликнул доктор Хайд, внезапно отворачиваясь от окна, через которое наблюдал жизнь, протекающую на площади Рассела:

— Неужели вы станете отрицать, что заходили ко мне около двух часов тому?

— Конечно, я это отрицаю!

— Проклятый лжец! Сейчас мне ничего не мешает...

Но тут Стрикленд твердой рукой остановил доктора:

— Не стоит возмущаться, доктор Хайд! Может ли кто-нибудь из вас подтвердить свою правоту?

— Нет, — ответил мистер Коллинз, — я н-н-не могу! П-п-после обеда я немного отдохнул, а з-з-затем...

Доктор Хайд выругался вполголоса и спросил.

— Вы что, не можете поверить мне на слово? Зачем бы я стал придумывать всю эту историю?

96 НДОХБ А —

— Вам принадлежит скальпель, которым было совершено преступление, и для того, чтобы оправдаться, вам выгодно бросить на кого-нибудь тень подозрения.

— Да это же смешно! Я вполне бы мог спрятать скальпель еще до вашего приезда.

— Что помешало бы вам объяснить пропажу скальпеля из вашего саквояжа. Так что лучше уже было оставить его в трупе.

— Да кто же станет совершать преступление оружием, косвенно бросающим на него тень подозрения?!

— Это рискованно, зато хитро.

— У меня есть алиби, — крикнул вдруг доктор Хайд. — Когда Коллинз входил ко мне, по коридору проходил мистер Андреев. Мы даже обменялись с ним несколькими словами.

— Ну и?..

С этими словами Стрикленд посмотрел на Коллинза. Тот, казалось, боролся с самим собой.

— Я п-п-признаю! — сказал он наконец, и глаза его заблестели от слез. — Я п-п-просто потерял г-г-голову из-за ваших вопросов... М-м-мне казалось, что если я с-с-сознаюсь, вы немедленно арестуете м-м-меня... Я н-н-не знал, что в коридоре был Андреев.

Затем он добавил, понизив голос:

— К-к-клянусь, что инструментарий мне был с-с-совершенно безразличен. М-м-мне просто хотелось н-н-немного поболтать. Разговор к-к-коснулся хирургии... В-в-вот и все!

Стрикленд хотел было что-то сказать, но тут доктор Хайд, наклонившись над столом, на котором лежало тело убитого, опередил его:

— А вы видели это, инспектор?

Стрикленд подошел к столу. Когда убирали тело, то узкая с кистями скатерть несколько сдвинулась и на полированной поверхности обнажилась совсем свежая царапина:

— Это уже любопытно! — буркнул Стрикленд. — Похоже на буквы.

— Да, похоже. И если смерть месье Жюли наступила не мгновенно, то эту надпись вполне мог сделать он.

Доктор Хайд нагнулся и осторожно поднял остро заточенный карандаш:

— Готов поспорить, что он воспользовался именно этим карандашом!

Стрикленд отмел последние сомнения:

— Осторожно! Там могут быть отпечатки пальцев!.. Берд, сходите-ка за миссис Хобсон и за горничной.

Когда те вошли в комнату, Стрикленд, указывая на царапины, спросил у них:

— Стол уже давно был поцарапан или же эта надпись появилась недавно?

— Я вижу эту царапину впервые, — ответила миссис Хобсон.

Мэри же высказалась еще более категорично:

— Не далее, как этим утром я протирала стол, он был в отличном состоянии.

Тогда все взгляды обратились к доктору Ханкоку, и Стрикленд задал вопрос, который был у всех на устах:

— Возможно ли, что месье Жюли еще несколько минут боролся со смертью?

— Лично я готов бы был поспорить, что нет!

Стрикленд внимательно осмотрел царапины:

— Ну что ж, в таком случае вы проиграли бы это пари!

— Откуда у вас такая уверенность?

— Это несомненно буквосочетание, присущее французскому языку, а не английскому... Он не мог написать имя убийцы, не забывайте, что большинство пансионеров было представлено ему поспешно или же целой группой, так что месье Жюли мог и не запомнить их имен. Он хотел отметить характерную особенность этого человека, касающуюся, думаю, прежде всего, внешности — особенность, которая помогла бы нам идентифицировать убийцу. Он, очевидно, вооружился первым попавшимся острым предметом, то есть вот этим карандашом, и начал царапать фразу, которую ему мешала дописать смерть: *il v...*

— И что же это, по-вашему, должно было означать?

Стрикленд ничего не ответил, хотя у него были вполне определенные подозрения. Он полагал, что это должно было бы означать: *IL Bégaie**.

— Добрый вечер, констебль! — сказал Джинджер

* Заяка (фр.).

Лоусон, уверенно входя в дом. — Надеюсь, вы не прогоните меня? Я — Джинджер Лоусон, репортер из «Найт энд Дей», тот самый, который обнаружил Лэди Тревор-Мир у членов Армии Спасения и развенчал «Ламбертского Тигра»... Дайте-ка мне пройти, старина!.. Меня ждет мистер Смит.

ГЛАВА X.

МИСТЕР СМИТ — КОЛЛИНЗ

Инспектор Берд одернул старшего офицера за рукав.

— Что там такое? — спросил Стрикленд, оборачиваясь.

— Прошу прощения, сэр. Но там внизу один... один... — набравшись духу, Берд решил сразу броситься в воду с головой: — там один репортер спрашивает вас.

Стрикленд почувствовал начало провала, но тем не менее ответил:

— Иду! Так что, месье Жюли пользовался стаканом с водой?

— Не похоже, — ответил Берд.

— Ну а таблетку вы так и не нашли?

— Нет, должно быть месье Жюли проглотил ее, не запивая.

Выйдя из комнаты, Стрикленд задался вопросом: «И каким это, черт возьми, образом, новость успела уже долететь до газетчиков?» Сойдя вниз, он услышал доносящийся из холла веселый голос:

— Хэлло, Стрикленд!

Стрикленд неторопливо, с серьезным видом спустился вниз. Здесь нужно было вести тонкую игру...

— Добрый вечер, Джинджер. Боюсь, что мне пока что нечего вам сообщить. Расследование только-только началось и...

— Расскажите это кому-нибудь другому, старый лис!

— А кто вас уведомил о случившемся?

— Сам убийца, неуловимый мистер Смит собственной персоной! «Я живу в двадцать первом номере, на площади Рассела, когда-нибудь я пришлю вам свои воспоминания...» Так что вы еще услышите его.

«Весьма польщен», — подумал Стрикленд.

Он рассчитывал скрывать от общественности ^{изнан-}ку этого дела по крайней мере еще несколько дней и вести расследование, как самое обычное дело. Но мистер Смит, словно назло, собственноручно расстроил его планы!

— А в котором часу он вам позвонил?

— Около половины десятого. Перси, вероятно, удивился бы меньше, если бы ему сообщили о кораблекрушении «Королевы Мэри».

Тщательно взвешивая каждое слово, Стрикленд посмотрел на репортера:

— Давайте начистоту, Джинджер! Могли бы вы «замять» это дело, если бы я вас об этом попросил?

Джинджер отрицательно покачал головой:

— Только не в этот раз, старина! У меня на хвосте уже висит Мэллоун. Он заявится сюда не позже, чем через пять минут, со всей своей Флит-стрит!

— Ясно... — с мрачным видом ответил Стрикленд.

— Хэллоуз! — крикнул он стоящему возле входа констеблю.

— Если вы откроете дверь еще хотя бы одному репортеру, я не оставлю от вас и мокрого места!

— Ну ладно, а как же я? — поинтересовался Лоусон.

— Ладно, оставайтесь, раз вы уже здесь!

— Миссис Хобсон! — позвал Стрикленд.

Дверь с силой хлопнула от сквозняка.

— Вы не знаете случайно, кто звонил в Скотланд-Ярд?

— Нет. Подобные сцены не для женщин, а я ведь потеряла сознание и...

Ее прервал доктор Хайд, соизволив дать Стрикленду интересующие того сведения:

— Эту миссию хотел было взять, на себя майор Фэрчайлд, однако его опередил Андреев.

— А был ли кто-нибудь рядом с ним, пока он звонил?

— Да, я была рядом, — смущенно сказала Мэри.

— Ну и что он сделал после того, как повесил трубку?

— ...Ничего.

— А никакого другого номера он не заказывал?

— Нет, после этого он сразу же поднялся на второй этаж.

— А где находится телефон?

— В моем будуа... — начала было миссис Хобсон, но, покраснев, спохватилась: — В моем личном кабинете, в конце коридора.

— Выходит, пользуясь всеобщим замешательством, туда тайком мог проникнуть кто угодно и воспользоваться телефоном?

— Разумеется, но...

Однако Стрикленд уже ее не слушал:

— Ну что ж, кто кого, Коллинз! Итак, где вы были в половине десятого?

Сделав комичный жест, который должен был означать: «О, Боже! Опять все сначала!», Коллинз проблеял:

— Н-н-не знаю!

— Вместе со всеми, наверху, или же вы спустились вниз?

— Н-н-на-верху, кажется!

— В таком случае, вам нетрудно будет назвать свидетеля, который мог бы это подтвердить?

— К-к-как раз наоборот... Б-б-боюсь, что подтвердить это б-б-будет трудно. Мы все б-б-были слишком перепуганы, ч-ч-чтобы обращать внимание на то, кто чем з-з-занят. Д-д-да я бы сам не смог п-п-поклониться, что в то время н-н-находился наверху...

В ответ Стрикленд лишь буркнул что-то. У него создалось впечатление, будто он идет по лабиринту, в котором на каждом шагу встречаются одни и те же препятствия.

Правда, вмешательство журналистов заставит его теперь выложить карты, и теперь он сможет опросить каждого не только о событиях этого вечера, но и о некоторых других вечерах.

Вынув из кармана блокнотик и полистав его, Стрикленд спросил:

— Что вы делали 10 ноября прошлого года в 11 часов вечера?

— К-к-как я могу это помнить?

— Быть может, вы проводили этот вечер с друзьями или же спали в это время, или же вас вообще не было в Лондоне?

— Я н-н-не помню! А п-п-почему вы спрашиваете меня об этом?

Вместо ответа последовал очередной вопрос:

— А где вы были 12 числа того же месяца, около пяти вечера?

— Я н-н-не помню!

Тем не менее Стрикленд не терял надежды. Чем больше Коллинз будет повторять «Я не помню», тем больше он будет задавать все новые и новые вопросы.

— Ну а восемнадцатого, около половины десятого вечера?

— Я н-н-не помню!

Инспектору Фуллеру, которому Стрикленд поручил отыскать украденные деньги, примерно в то же время пришла в голову мысль, которая должна была предопределить его карьеру. «Должно быть, — подумал он, — убийца спрятал деньги не в своей комнате, а в каком-то труднодоступном месте». И поскольку это пришло ему в голову именно тогда, когда он проходил мимо ванной, то он решил в нее войти.

Несмотря на идеальную чистоту и порядок, было видно, что кто-то совсем недавно пользовался умывальником. Фуллер пошарил справа, слева, приподнял лежащий желтым пятном на черно-белом кафеле коврик-губку, осмотрел содержимое лакированной этажерки. Ему осталось, как водится, только вынуть штуцер ванны, и не успел он открыть сток, как удовлетворенно крякнул. К крестовине, препятствующей проникновению в сточную трубу крупных предметов, была привязана ниточка. Взяв с этажерки пинцет, Фуллер вытащил эту ниточку. Затем он несколько помучился, вытаскивая из стока привязанный таким образом предмет. Однако уже один вид этого предмета компенсировал все его мучения. Это был маленький, легонький сверточек в целлофановом пакетике...

Пересчитав банкноты, — там оказалось три по десять и две по пять фунтов стерлингов, — Стрикленд бросил их на стол:

— Деньги все в сохранности. Теперь необходимо установить, кто после ужина заходил в ванную.

Присутствующий уже некоторое время на допросе инспектор Мордонт сказал:

— Мистер Андреев мог бы помочь вам разобраться в этом. Как раз между восемью и девятью он оказался на лестнице и...

— Приведите его сюда.

Мистер Коллинз все больше и больше напоминал затравленное животное. Но, услышав имя Андреева, он, похоже, был близок к обмороку.

Даже не взглянув на Коллинза, Стрикленд пошел навстречу русскому, протягивая ему руку.

— Здравствуйте, мистер Андреев. Мне сказали, что вы после ужина выходили из столовой.

— Совершенно верно.

— И надолго?

— Самое большее минут на семь-восемь.

— Вы заходили в комнату?

— Да.

— И вы видели кого-то входящим или выходящим из ванной?

— Да.. да.

— Кого же?

Русскому, похоже, этот вопрос был крайне неприятен. Демонстративно повернувшись к Коллинзу, он сказал:

— Боюсь, что я проявил чрезмерную болтливость, мой дорогой друг!

— В котором часу это было, — не отставал от него Стрикленд.

— Инспектор Мордонт уже спрашивал меня об этом... Думаю, что это было примерно в восемь сорок или восемь сорок пять.

— Благодарю вас. Так что же вы делали в ванной. Коллинз?

— Я м-м-м-мыл руки.

— Покажите-ка мне их!

Услышав это очередное требование, мистер Коллинз как-то по-детски и даже трогательно спрятал свои руки за спину, точно ребенок, боящийся наказания. Однако затем, словно подчинившись чьей-то более сильной воле, медленно протянул их инспектору. Тот внимательно осмотрел их, а затем неожиданно спросил:

— Вы сами сказали нам, что довольно долгое вре-

мя провели в своей комнате. Так почему же вы не вымыли там руки, а пошли именно в ванную?

— Я н-н-не подумал об этом!

— Будет лучше, если вы расскажете всю правду, Коллинз! — посоветовал ему доктор Хайд. — Честное слово, так будет лучше.

— К-к-к-какую еще правду?

— Вы и сами знаете какую!.. Первое: за пользование чужим мылом платить не нужно, второе: вашу маму звали Мак Тавиш!

Мистер Андреев и Мордонт улыбнулись этой шутке доктора, а Стрикленд неожиданно, не говоря ни слова, вышел из комнаты, ко всеобщему недоумению. Не прошло и минуты, как он столь же неожиданно вернулся и спросил:

— Какими чернилами вы пользуетесь, Коллинз?

— Я?.. Об-б-б-бычными.

— Я спрашиваю, какого цвета?

Коллинз колебался, не зная что сказать.

— Синими или черными? — спросил его тогда Стрикленд.

— С-с-с-синими.

Стрикленд удовлетворенно кивнул головой и заявил:

— Эта последняя ложь окончательно погубила вас, Коллинз! Вы пользуетесь чернилами фиолетового цвета. Именно ими выпачкан ваш бювар и... и одна из банкнот, украденных у месье Жюли!

Пока все охали да ахали, в комнату вошел, явно чем-то встревоженный, констебль Хэллоуз:

— Прошу прощения, сэр. Но там внизу собрались репортеры: они грозятся высадить дверь. Их там уже около двадцати человек...

— Очень хорошо, впустите их!

Хэллоуз подумал, что он ослышался, но все же пошел вниз открывать, готовясь к наихудшему. Под мощными ударами дверь сотрясалась. Сняв цепочку, Хэллоуз открыл дверь. В ту же секунду он оказался отброшенным к стене целой ордой дьяволов, ринувшихся к лестнице. И все они, во главе с Джинджером Лоусоном и Тедди Мэллуоном рвались к комнате убитого.

Выйдя на лестничную клетку, Стрикленд спросил:

— Вы хотели видеть мистера Смита?.. Вот он!

Мистер Коллинз стоял в окружении Берда и Фуллера, закрыв лицо руками. Никогда еще он не выглядел столь тщедушным.

— Это д-д-д-досадная ошибка! — проблеял он. — М-м-меня зовут Коллинз и я работаю коммивояжером по продаже радиоприемников!

— Расскажите это кому-нибудь другому! — ответил за всех Джинджер Лоусон. — Что вы испытывали, когда совершали свое первое убийство?

КОНЕЦ КОШМАРА —

было напечатано в ту же ночь в типографии «Найд энд Дей» — «газете, которая никогда не противоречит самой себе»:

Спустя три часа после того, как мистер Смит бросает нам по телефону вызов, он попадает в руки Скотланд-Ярда.

ГЛАВА XI.

«ЭЛЕГИЯ» МАССНЕ

Несмотря на пережитое накануне ночью потрясение, пансионеры миссис Хобсон встали в ту субботу 29 января 193... года раньше обычного.

Не успел в самом конце площади Бэдфорда появиться молочник, как майор Фэрчайлд соскочил с кровати и, подойдя к открытому окну, стал выполнять комплекс дыхательных упражнений по методу Хантли. Этот шум разбудил мисс Холленд, с криком подскочившую на своей кровати. Ей приснилось, будто бы статуя Нельсона, сойдя со своего постамента, гонялась за ней вокруг Трафальгарской площади. Мисс Паутер, как обычно, постучала ей в стену и пожелала доброго утра. Хотя не было еще и четверти восьмого, она уже успела надеть свое цветастое платье, купленное еще накануне на распродаже у «Робертса энд Робертса». Оно было ей коротко на два пальца, но очень шло.

— Доброе утро, — ответила ей мисс Холленд. — Как вам спалось?

— Ужасно, но зато я придумала рекламу, заказанную мне фабрикантами хозяйственных электротоваров.

Сделайте руки хозяек хозяйственными! Отлично, правда?

В половине восьмого мистер Андреев, надев свой бело-синий купальный халат, и майор Фэрчайлд в оранжево-зеленом халате, одновременно вышли из своих комнат с полотенцами в руках.

— Доброе утро, дорогой друг! — приветливо поздоровался русский, — уже на ногах?

— Как видите! — буркнул в ответ майор. — Вы куда идете?

— То есть, как куда... в ванную, разумеется.

— Вот как! И я, представьте, туда же!

— В таком случае, сделайте мне одолжение, пройдите первым.

Смягчившись после такого ответа, старый офицер счел нужным продолжить разговор:

— Кстати, об этом Смите... — начал было он, но тут же поправился: — То есть я хотел сказать о Коллинзе. Хотите верьте, хотите нет, но я вовсе не был удивлен, когда узнал, что он за штука на самом деле.

— Неужели? Но он все отрицает.

— Ничего, еще сознается! Хотя этим типам из Скотланд-Ярда недостает обходительности, дело свое они знают. Сейчас, должно быть, они атакуют Коллинза различными вопросами.

— Гм! А мне кажется, что они, вероятнее всего, сидят в маленьком прокуренном кабинетике и ведут бесконечные row-pow.

— Что вы подразумеваете под этим row pow? — подозрительно спросил майор. — Это что-то по-русски?

— Во все нет. Это из индейского. Это слово обозначает «обсуждение, совещание».

— Вы что, хотите сказать, что вам доводилось бывать у краснокожих?

— Конечно! Я даже состоял по всем правилам в союзе с дочерью вождя одного племени. Ее звали Белое Облачко.

— Мысль жениться на индианке кажется мне по меньшей мере странной! — ответил на это майор, щеки которого заалели от сильного притока крови. — По крайней мере, англичанину такое не могло бы прийти в голову!

— Я с вами совершенно согласен, — спокойно сказал Андреев. — Я ведь человек со странностями.

— Ну как идут дела? — поинтересовался помощник комиссара Прайор. — Он уже сознался?

Прежде чем ответить, Стрикленд тяжело опустился на стул. Допрос длился всю ночь и ему не было видно конца.

— Даже и не думает. Напротив, он изо всех сил защищается.

— Быть может, это поколебало вашу уверенность?

— И да, и нет. Говорит он довольно трогательно, однако не может представить нам алиби.

— И все же, может случиться, что он окажется невиновным!

— А может, и виновным. Уже очень у него куриная память.

— А вы опросите остальных пансионеров.

— Уже опросили. Днем они все расходятся — каждый по своему делу, а вечера проводят очень однообразно. Мне не удалось ни одного из них заставить вспомнить хоть что-то определенное.

— Сколько лет Коллинзу?

— Тридцать три.

— А чем он занимался до того, как стал коммивояжером по продаже радиоприемников?

— Был агентом по продаже столовых приборов фирмы «Руолз». Его отец был пастором в Нортумберленде и хотел, чтобы его сын тоже занялся теологией. Однако, поскольку Коллинз-младший был не в состоянии произнести членораздельную проповедь, он взбунтовался и удрал из родительского дома. За это время он успел сменить уже десятка два профессий.

— Живы ли еще его родители?

— Нет, оба умерли в прошлом году, с интервалом в полгода, оставив своему сыну по завещанию 320 фунтов стерлингов.

— Довольно-таки банальная жизненная история.

— До того банальная, что даже вызывает подозрение.

Роберт Прайор довольно долгое время пребывал в задумчивости. Его голубые глаза невидящим взглядом смотрели на кусочек неба. Он видел Ирэну Фелис

такой, какой она предстала перед ним накануне вечером в роли Джен Эйр. Однако он отмахнулся от этого видения.

— Вот что я не могу никак понять, — зачем этому мистеру Смиту понадобилось убивать безобидного месье Жюли? Ведь последний все-таки отказался помогать нам в поисках преступника.

— Но возможно, Коллинз подумал и обратное? — предположил Стрикленд без особой уверенности.

Узнав об убийстве, он безуспешно пытался разгадать мотив преступления.

— Это исключено, старина! Ведь тогда следовало бы предположить, что ему было известно о каждом шаге профессора. А Берд клянется, что от Британского музея за ними никто не следил.

— Возможно, Коллинз проходил мимо Скотланд-Ярда как раз тогда, когда месье Жюли выходил от нас...

— Вы шутите? Да и месье Жюли вернулся в пансион лишь затем, чтобы сообщить о своем немедленном отъезде.

— Значит, получается, что убийство было совершено с целью ограбления?

— Да, но это ничего не объясняет. Я вижу в этом лишь следствие, а не причину совершения преступления.

— Вы хотите сказать, что, совершив убийство, мистер Смит не смог бы удержаться от того, чтобы не очистить карманы жертвы?

— Совершенно верно. Однако убийство было совершено не с целью грабежа. Потому что, если бы он замышлял обычную кражу, то ему стоило только подождать наступления туманного дня и вновь убить какого-нибудь зазевавшегося прохожего.

— Если только ему срочно не понадобились деньги,

— Это маловероятно — вспомните сколько принесли ему предыдущие преступления. И если бы еще месье Жюли прилюдно хвастался, что он нафарширован деньгами! Так ведь же нет — у несчастного ученого было всего лишь 40 фунтов стерлингов. Хотя для некоторых это целое состояние... Но только не для мистера Смита!

— Быть может, он надеялся, что профессор обладает более значительной суммой?

— Учитывая его ненасытный аппетит, нет никаких сомнений, что он надеялся на это! Но, опять-таки, только одни лишь деньги не смогли бы толкнуть его на столь безумный шаг!

— Тут из двух одно, — оживился Прайор. — Либо мистер Смит заметил, что за домом ведется наблюдение и, убивая месье Жюли, решил дерзко подтвердить наши подозрения, либо же он не заметил слежки и не менее дерзко решил вызвать наши подозрения!

Стрикленду это тоже уже приходило в голову.

— Вот вы сказали: «безумие», и я совершенно согласен с вами. Это единственное возможное объяснение. Мистер Смит, как и все подобные ему параноики, испытал непреодолимое желание бросить нам вызов.

— Как прекрасно сказано: «параноик»! — в восторге ответил Прайор.

С влажным от пота лбом и беспрестанно моргая, мистер Коллинз тупо посмотрел на своих мучителей, изводивших его бесконечными вопросами уже не первый час.

— Я н-н-не-знаю, — неизменно мычал он им в ответ.

— Куда вы дели свой мешочек с песком?

— Я н-н-не знаю!

— Так, значит, он у вас был?

— Н-н-н-нет! К-к-к-конечно же, нет!..

— Сколько вы зарабатывали в месяц?

— К-к-к-как когда!

— Много?

— Н-н-нет, н-н-н-немного!

— Короче, у вас затруднительное материальное положение?

— С-с-скорее, да.

Каждый инспектор задавал свой вопрос, даже не имеющий прямого отношения к убийству. Эта игра заключалась в том, чтобы довести арестованного до полного оупения, с тем, чтобы он сам во всем сознался. Его спрашивали даже, умеет ли он кататься на коньках и любит ли крепкий чай.

— Сколько времени вы проживаете в пансионе миссис Хобсон?

— П-п-пять месяцев.

— А где вы жили до того?

- В гостинице, на Одесской дороге.
- В какой именно гостинице?
- «Д-д-джилкрист».
- И почему же вы оттуда съехали?
- Это б-б-б-было слишком дорого для меня.
- Ну и? — спросил только что вошедший Стрикленд.

Инспектор Стори сделал нетерпеливый жест, означавший: «ничего не поделаешь!» Тем не менее Стрикленд приказал:

- Продолжайте, ребятки! Нам некуда торопиться!
- У вас есть долги? — возобновил допрос Стори.
- Д-д-да...
- Кому же вы задолжали? — спросил в свою очередь Берд.
- Своему портному.
- Только ему? — поинтересовался Фуллер.
- К-к-кажется, да.
- Кто ваш лечащий врач?
- Доктор К-к-к-оулмэн.
- А ему вы ничего не должны?
- Д-д-должен!
- Сколько же?
- Т-т-тридцать фунтов стерлингов.
- Где же вы собираетесь их взять?
- Н-н-не знаю!

И тут произошло нечто вроде чуда. Обхватив голову руками и перестав отвечать на вопросы, мистер Коллинз сказал еще более дрожащим от волнения голосом:

— Ч-ч-ч-четвертое января... Э-э-это ведь б-б-б-был в-в-в-торник.

— Да, — ответил Стрикленд. — Ну и что с того? Дело в том, что четвертого января около 9.20 был убит мистер Лейтон, на Голдсмит-стрит.

— Я в-в-вспомнил! Т-т-тот вечер я провел с остальными пансионерами.

— Как вы это докажете?

— Мм-миссис Хобсон еще играла нам на п-п-пианино «Элегию» Массне. А м-м-мисс Холленд п-п-переворачивала страницы нот.

Стори, Берд и Фуллер после этих слов застыли.

— Продолжайте его спрашивать о чем-нибудь! —

приказал им Стрикленд, указывая на арестованного. —
А я поеду в пансион.

Вернулся он спустя сорок минут и направился прямо к Коллинзу.

— Знаете, похоже, никто не в состоянии подтвердить правоту ваших утверждений. Доктор Хайд же, напротив, говорит, что вы в тот вечер, когда миссис Хобсон села за пианино, куда-то отлучались из гостиной. Затем он слышал, как хлопнула входная дверь и как вы, примерно без десяти минут десять, вешали в гардеробе свою шляпу и пальто.

— Он л-л-лжет! — воскликнул мистер Коллинз.

— Кто лжет?

— Д-д-д-октор Хайд!

Подвинув к себе стул, Стрикленд сел на него верхом:

— Ну конечно же, он лжет. И вообще, все они лгут! Зачем вы выходили в тот вечер, Коллинз?

— Я н-н-не выходил!

— Быть может, вас прельстил туман?

— . . .

— Или вам не по душе «Элегия» Массне?

— . . .

— А может вам захотелось купить апельсин?

Спустя три дня мистер Коллинз столь же упрямо все отрицал и не желал ни в чем сознаваться.

ГЛАВА XII

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ

Началось все с визита некоего мистера Брекинриджа. Под предлогом того, что он желает поселиться в пансионе, мистер Брекинридж заставил показать ему весь дом, от погреба до чердака.

Мистер Брекинридж был почтенного вида седовласый мужчина, поэтому, когда он спросил у миссис Хобсон, с совершенно невинным видом: «Это та самая комната, в которой был убит тот самый бедняга-профессор?» — та чуть не умерла со стыда. Однако мистер Брекинридж тут же добавил: «Она мне очень даже нравится!» Осмотрев комнату, в которой было совершено

убийство, он пожелал осмотреть ту, в которой жил убийца. В конце концов он сказал:

— Позвольте мне посоветоваться с миссис Брекки-ридж. Я позвоню вам во второй половине дня.

Когда он ушел, миссис Хобсон, едва сдерживая слезы, сказала только что вернувшемуся с прогулки профессору Лала-Пуру:

— Он уже больше не вернется!

— А-а! — беззаботно ответил индус. — Так другие придут. Кстати, на улице полно любопытных.

Миссис Хобсон тут же подбежала к окну и, посмотрев вниз, почувствовала себя еще более несчастной.

— Ну что это за люди! — возмутилась она. — Они же ведут себя просто неприлично!

В этот момент раздался звонок в дверь. Мэри пошла открывать и впустила какую-то пожилую даму.

— Меня зовут миссис Плат, — представилась та. — Я ищу не очень дорогой, но порядочный пансион для своего шурина. Не могу ли я ознакомиться с вашим?

— Быть может, вам известно, что... — начала было миссис Хобсон.

— Ну что вы! — прервала ее миссис Плат. — Но кто же сможет упрекнуть вас в том, что вас обманул преступник! Кстати, а как он выглядит?..

К обеду миссис Хобсон успела принять уже с дюжину человек, желавших найти пансион для своих родственников или друзей. Поэтому чувство стыда, которое она испытала утром, уступило место легкому головокружению от чрезмерного внимания. Ей казалось, что ее окружила толпа почитателей, желающих снискать ее расположение.

После обеда поток посетителей возрос. Это было вполне естественно — ведь пансион «Виктория» был не просто «домом, в котором было совершено убийство». Здесь нашел себе приют один из наиболее ловких и дерзких преступников века.

К любопытным примешались репортеры, фотографы, посыльные из Скотланд-Ярда со срочными депешами, страховые агенты, пользующиеся моментом, чтобы ворваться в дом, а также другие зеваки всех мастей. Наплыв стал таким, что пришлось прибегнуть к помощи полиции, дабы навести порядок и разогнать любопытных.

— Я чувствую себя совершенно разбитой! — сказала миссис Хобсон за ужином. — Если бы эти господа из полиции не попросили меня отклонять пока что все предложения и если бы не мои обязанности гостеприимной хозяйки, то я смогла бы сдать все помещения, вплоть до подвала!

Миссис Крабтри бросила вызывающий взгляд на своих соседей по столу:

— Должна признаться, за мной часто увиваются на улице, но все же не полдюжины мужчин одновременно, как сегодня! Мне пришлось обратиться за помощью к констеблю, чтобы он пресек это безобразие!

— Это все еще пустяки! — буркнул майор. — Меня, к примеру, сфотографировал один из этих проклятых репортеров, как раз в тот момент, когда я подтягивал фиксаторы своих носков! А другой, во что бы то ни стало хотел узнать мое мнение относительно того, выиграют или проиграют австралийцы следующий матч по крикету!

Редко вмешивающийся в разговор профессор Лала-Пур на этот раз воспользовался всеобщим молчанием и решил произнести своим глубоким голосом:

— Скандал привлекает всеобщее внимание. Я встретил своего менеджера и он сообщил, что меня, конечно же, пригласили дать представления в «Палладиуме».

Услышав это, мисс Паутер захлопала в ладоши:

— Ура! А вы дадите нам контрамарки? Я бы тогда могла подбросить вам отличную идею для рекламы!

— Ну конечно же, я позабочусь об этом. А что у вас за идея, мисс Паутер?

— Все свои старые афиши можете порвать и выбросить. Возьмите чистые листы бумаги формата афиши и напишите на них одну лишь строчку: «Текст этих афиш спрятан знаменитым магом, профессором Лала-Пуром, с огромным успехом выступающим в настоящее время в «Палладиуме»!

Мисс Холленд сидела с таким видом, словно хотела, чтобы о ней забыли, однако взгляд миссис Хобсон все же задержался на старой деве.

— Да, кстати, дорогая моя, тут вам принесли двух котят... Это что, подарок?

— Да, — заволновалась мисс Холленд. — Это подарок мистера Лоусона, репортера из «Найт энд Дей».

Мистер Лоусон попросил меня написать серию статей под общим заголовком: «Мистер Смит, мой хороший знакомый». Черного котенка зовут Найт, а белого Дей. Очаровательно, правда?

— Не знаю только, как это мистер Лоусон смог догадаться, что вы любите котов, — с иронией заметил доктор Хайд.

— Я сама не могу никак понять этого! — совершенно невинно ответила старая дева.

— И что же вы намерены делать с ними? — не успокаивалась миссис Хобсон.

— Как что?.. Ухаживать за ними, с вашего разрешения.

— Отдайте-ка их лучше профессору Лала-Пуру! — посоветовала мисс Паутер. — Он сделает из них звезд эстрады.

Маленькой трагедии было бы не избежать, если бы не вмешался мистер Андреев:

— Нет, нет, ни в коем случае! — сказал он. — С мисс Холленд они будут счастливее. Правда ведь, моя дорогая? — спросил он, обращаясь к мисс Холленд.

Миссис Хобсон хотела было возразить, однако русский так нежно сжал ее запястье, что она промолчала, сладострастно наслаждаясь своим поражением.

К всеобщему удивлению, мистер Коллинз, встав с места и подойдя к окну, начал вглядываться в него, словно хотел что-то увидеть сквозь скрывающую набережную королевы Викторнии пелену тумана. Его заключение длилось уже четыре дня. За это время он слегка изменился: жалкий рыжий пушок покрыл его подбородок, он нетвердо стоял на ногах.

— Я признаюсь! — сказал он наконец.

Стрикленд недовольно посмотрел на Стори, который, будучи не в силах скрыть свои эмоции, выругался в полголоса.

— Означает ли это, что вы признаетесь в том, что вы — мистер Смит?

— Да! — решительно сказал Коллинз. — Именно это!

— Значит, вы признаете, что убили восемь человек, как то: мистера Бурмена, 10 ноября 193... года, около 23 часов, на Тависток роуд, мистера Суара...

— Да, да, да!

— Мистера Суара, — спокойно продолжил старший офицер, — 12-го того же месяца, около 17 часов на Рэкхем-стрит, мистера Деруэнта, 18-го того же месяца, около 22.30, на Мэпл-стрит, мистера Трэмпла, в канун Рождества, около 18.30, на Фоксглоув-стрит и мисс Иетгворс, в тот же день, двадцать минут спустя, около Вормхолтского парка, мистера Лэйтона, 4 января 193... года, около 21.20, на Голдсмит-стрит, мистера Морриса, 26 числа того же месяца, около 19 часов на Сьюттон-стрит и, наконец, месье Жюли, 28 числа того же месяца, около 22.30, в одной из комнат второго этажа, в пансионе «Виктория» на площади Рассела, 21.

— Да, я п-п-п-ризнаю.

— Прекрасно. Каковы мотивы преступлений, совершенных вами?

— Вы и сами п-п-п-рекрасно знаете. Дд-д-деньги!

— Только это?

— Да, к-к-к-конечно!

— И месье Жюли вы тоже убили только из-за денег.

— Да.

— Доводилось ли вам видеть его, прежде чем он поселился в пансионе «Виктория»?

— Нет, н-н-н-никогда!

— Выходит, у вас не было причин испытывать к нему личной неприязни?

— Нет.

— А зачем вы оставляли визитную карточку возле трупов своих жертв?

— Из лихачества!

— Чтобы бросить вызов полиции?

— Да... И обществу т-т-тоже.

— Вы знали, что за пансионом ведется наблюдение?

— Нет. Если бы я знал, то не с-с-стал бы убивать месье Жюли.

— Но ведь вы подписались и под этим преступлением тоже!

— М-м-м-машинально!

— А где ваш мешочек с песком?

— Я его в-в-ыбросил.

— Куда?

— В Т-т-темзу.

— Когда?

— Д-д-двадцать седьмого января.

— А почему вы решили выбросить его?

— Я п-п-посчитал, что дальше хранить его опасно.

— Так вот почему вы убили месье Жюли ножом?

— Да.

— Вы должны были понимать, что доктор Хайд расскажет нам о том, что вы заходили к нему в комнату!

— Я н-н-надеялся, что он об этом не станет в-в-вспоминать.

Стрикленд замолчал. Произошла странная вещь: Коллинз был ему гораздо более подозрителен, когда упрямо все отрицал, чем сейчас, когда он во всем сознался.

— Где вы храните визитные карточки?

— У меня их больше не осталось.

Конечно, совсем не исключено, что Коллинз решил прибегнуть к новой системе защиты, когда неуклюжие признания говорят в пользу подозреваемого.

— После того, как 26 января вы напали на мистера Морриса, вы сразу же вернулись домой?

— Да, к-к-кажется.

Тоби Марш утверждал совсем иное.

— Так какой же дорогой вы возвращались?

— Через площадь Бедфорд и площадь Монтегью, вероятно.

— На вас был плащ или пальто?

— Я н-н-не помню.

— Но у вас есть и то, и другое?

— Да.

— Где вы храните украденные вами деньги?

— В н-н-надежном месте.

— В каком же?

— Это мое дело.

В этот момент раздался телефонный звонок, и Стрикленд снял трубку. Он отвечал намеренно голосом, лишенным всяких эмоций.

— К чему все эти абсурдные признания, Коллинз? — спросил он, вешая трубку. — Вы что, хотите кого-то прикрыть? Или вы надеетесь, что таким образом вас скорее оставят в покое?

Вначале Коллинз робко запротестовал, а потом, словно от озноба, задрожал:

— У м-м-меня больше нет сил! — признался он.

Стрикленд слегка сжал его плечо.

— Ну что ж, в дорогу, ребятки... Вас, Стори, ждут на Морнингтон Кресцент. Там только что обнаружен труп молодой женщины. У нее к корсажу пришпилена визитная карточка с именем мистера Смита. Сумочка и драгоценности, разумеется, тоже исчезли. Мордонт и Фуллер, вы пойдете со мной! Похоже, что подлинный мистер Смит все еще обитает в пансионе «Виктория»!

ГЛАВА XIII

ПРОСТО МАРДЖОРИ

— Приведите мне их всех по очереди, — сказал Стрикленд, протягивая Фуллеру список, содержащий пять имен.

Минуту спустя он уже беседовал с майором:

— Здравия желаю, майор Фэрчайлд. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень сожалею, но мне придется опросить вас еще раз. Того требуют обстоятельства. Итак, скажите пожалуйста, где вы были и что делали сегодня, около половины восьмого вечера?

— Я был в своем клубе и проигрывал в бридж! — ехидно ответил майор. — Но мне бы очень хотелось узнать...

— Немножко терпения, майор. Так, как называется ваш клуб?

— «Колониальный клуб», Олбемарл-стрит, 10.

— В котором часу вы начали играть?

— Около четырех, а закончили в семь.

— Вы можете назвать имена своих партнеров?

С трудом сдерживая негодование, майор запыхтел:

— Это были два офицера в отставке, такие же, как и я: полковник Уилсон и полковник Гиллум и еще некий мистер Тодхантер, которого я сегодня видел впервые... Вам достаточно этого?

— И да, и нет... В сущности мне остается задать вам последний, весьма деликатный вопрос. Хотя вы и утверждали обратное, но все же в тот вечер, 28 числа,

когда был убит месье Жюли, вы отлучались из гостини-
ной. Вы отсутствовали, примерно, минут семь-восемь.
Итак, причина вашего отсутствия?

— Будь я проклят, если отвечу на этот вопрос!..
Вам абсолютно незачем это знать! Разве вы еще не
арестовали мистера Смита?

— Нет, — искренне сознался Стрикленд. — Мы по-
шли по ложному пути. Настоящий мистер Смит все еще
разгуливает на свободе. Уже сегодня, в 18.20, на Мор-
нингтон Кресцент он успел убить одинокую прохожую.

— О, Боже! — воскликнул майор. — Мне всегда
казалось, что этот Коллинз не способен на преступле-
ние!

— Но факты говорили не в его пользу.

— Скажите лучше, что Коллинз вас устранивал по-
тому, что он заикается. Однако, должен вам заметить,
что *bégaueг* не единственный французский глагол, начи-
нающийся на букву «b»! Обвинение вполне может от-
носиться еще кое к кому другому.

— К кому же?

— Наклонитесь, пожалуйста... Я не собираюсь ог-
лашать его имя на всех углах!

Стрикленд послушно наклонился. Сказав ему на
ухо несколько слов, майор, сверкнув глазами, откинул-
ся на спинку стула.

— Похоже, это не производит на вас впечатления?
— спросил он наконец.

— Нет, нет, напротив! — ответил Стрикленд, при-
ходя в себя.

— А вы сами не задумывались о том, что эта лич-
ность довольно-таки подозрительная?

— Задумывался! — ответил старший офицер. — Я
думаю о нем с самого начала.

— Добрый вечер, профессор! — поздоровался Стри-
кленд. — Обстоятельства вынуждают нас задать вам
еще несколько вопросов. Скажите, где вы были и что
делали сегодня, около половины седьмого вечера?

— Сегодня вечером я, разумеется, встречался со
своим импрессарио.

— Разумеется? А почему это разумеется?

Профессор Лала-Пур сделал как бы извиняющий-
ся жест. Однако лицо его, как всегда, было непроницае-

мым. На его голову был водружен нежно-голубого цвета тюрбан.

— Это просто моя манера говорить. На будущей неделе мне предстоит подняться на сцену «Палладиума». Поэтому мне необходимо было обсудить с мистером Хатуэйем множество вопросов.

— Понятно... Итак, в половине седьмого вы находились в обществе мистера Хатуэя. Кстати, где он живет?

— Боюсь, я непонятно выразился. Я вам сказал, что встречался с мистером Хатуэйем во второй половине дня, а не в половине седьмого. В это время я уже направлялся домой.

— Так где же живет мистер Хатуэй?

— В пансионе на Эвермонт-стрит.

Стрикленд был удивлен этим ответом, поскольку Эвермонт-стрит находится, самое большее, в пяти минутах ходьбы от Морнингтон Кресцент.

— Так вы говорите, что в это время направлялись домой... Вы что же, шли пешком?

— Конечно, пешком, это ведь совсем рядом.

— В котором часу вы вышли от мистера Хатуэя?

— Я не могу вам сказать этого точно. Возможно, в двадцать минут седьмого, а может быть, и несколько позже.

— Может быть, даже на несколько минут позже?

Индуc только согласно кивнул головой в ответ.

— Сколько времени вы пытались заключить контракт?

— Три месяца.

— Не могли бы вы припомнить, что вы делали 18 ноября прошлого года между десятью и половиной одиннадцатого вечера или четвертого января этого года около 9.20?

— Боюсь, что нет.

— Жаль!

Стрикленд отодвинул свой стул, давая этим понять, что разговор окончен. Выходя, индус обернулся и сказал:

— А я уже было думал, что это дело закрыто.

— А теперь что думаете?

— Что вы бы не стали допрашивать меня, что я делал сегодня, если бы настоящий мистер Смит был у

вас в руках. Очевидно, он совершил сегодня во второй половине дня очередное преступление.

— Совершенно верно. Могу только добавить, что совершил он его в двух шагах от Эвермонт-стрит.

— Это, конечно же, неприятное совпадение! — ответил профессор Лала-Пур.

— Добрый вечер, миссис и мистер Крабтри! Присаживайтесь! Но вам совсем не обязательно было беспокоиться обоим.

— Вы заблуждаетесь! — тут же отозвалась миссис Крабтри, пришедшая в кремового цвета халате и домашних тапочках с помпонами. — Как я уже объясняла тому очаровательному инспектору, который опрашивал нас в прошлую пятницу, мой муж, предоставленный сам себе, все равно что судно без компаса... Удачное сравнение, правда, Эрнест?

— Да, моя дорогая.

— Кстати, я думала, что арест мистера Смита положит конец различного рода опросам!

Вместо ответа Стрикленд обратился к мистеру Крабтри с вопросом:

— Где вы были и что делали сегодня, около половины седьмого вечера?

Мистер Крабтри открыл было рот, однако его голос был заглушен голосом его жены.

— Только вы не подумайте, инспектор, что я постоянно посылаю своего мужа за покупками. Но, Бог знает как, подхваченный мною насморк не позволил мне высунуть сегодня нос на улицу. Около двух часов дня я попросила Эрнеста пойти купить мне халат. Я совершенно не приняла в расчет его рассеянность. Скажу только, что домой он вернулся в пять! И знаете, что он мне принес? Один из этих кошмаров с воланами, которые полнят даже самых стройных... Мне пришлось заставить его отнести это обратно!

— Ну и что, вам удалось в конечном итоге получить то, что вы ему заказали?

— Оцените сами, инспектор. Правда, мне пришлось запастись терпением до семи часов!

— Где был куплен этот халат?

— В магазине «Дэвидсон-Дэвис», на Вордур-стрит. Стрикленд опять обратился к мистеру Крабтри:

— Как вы думаете, могла ли запомнить вас та продащица, у которой вы купили халат?

— Конечно же нет! — решительно воскликнула миссис Крабтри и в голосе ее сквозило возмущение. — Отвечай же, Эрнест!

— Нет, нет! Я не из тех мужчин, которые запоминаются женщинами.

Тогда Стрикленд многозначительно добавил:

— Вы недооцениваете всю серьезность ситуации, мистер Крабтри! Мистер Смит сам взялся доказать нам невиновность мистера Коллинза, совершив сегодня во второй половине дня еще одно преступление. Так что я прошу вас ни много, ни мало предоставить мне свое алиби. Итак, спрашиваю вас еще раз: смогли ли вас узнать девушки, обслуживавшие вас в магазине?

Мистер Крабтри явно колебался, не зная, что ответить. Однако угроза представителя власти пугала его несомненно меньше, чем угроза со стороны супруги, поэтому он ответил отрицательно.

— А не помните ли вы, чем вы занимались вечером 10 ноября прошлого года и 4 января этого года?

— Нет, — с явным сожалением ответила миссис Крабтри. — Однако я уверена, что эти вечера Эрнест проводил со мной.

— Вы что же, никогда не расстаетесь?

— Нет, почему же! Я считаю, что женатый мужчина должен сохранять иллюзию свободы. Говоря по правде, Эрнест вполне мог бы обойтись и без этого, но мы раз и навсегда договорились, что время от времени он будет ходить к своим друзьям играть в карты. Это друзья детства, вы понимаете?

— И ваш муж видится с ними регулярно?

— Нет. Эрнест обычно пользуется случаем, когда мне приходится на денек-другой уезжать в Числарст, к больной тете. Я разрешаю ему играть до полуночи.

— А в эти последние дни ему часто случалось выходить из дому?

— Даже слишком часто! К счастью, он сам на это жалуется.

— Добрый вечер, мистер Андреев. Простите, пожалуйста, но мы вынуждены вновь потребовать у вас отчет о том, как вы провели свое сегодняшнее время.

Слова сами срывались с губ Стрикленда, он даже не давал себе труда подумать. Он то вставал, то вновь опускался на стул.

— Где вы были и что делали сегодня, около половины седьмого вечера?

Понюхав торчащую в его петлице красную гвоздику, русский невозмутимо ответил:

— Есть вещи, в которых, к сожалению, признаться невозможно!..

— Это в каком смысле?

— В прямом... Кстати, я считал, что мистер Смит уже в руках Скотланд-Ярда.

— Настоящий мистер Смит, к сожалению, по-прежнему разгуливает на свободе! Примерно два часа назад он совершил свое девятое по счету преступление.

— Как это прискорбно! — вздохнул Андреев. — Весьма прискорбно.

К этому он больше ничего не добавил.

— Ну так что? — не отставал от него Стрикленд.

— Что что?

— Вы уже решились ответить на мой вопрос?

— Мне бы очень хотелось ответить вам, но...

Старший офицер решил атаковать прямо в лоб:

— Вы что, были у дамы?

— Ну, коль вы уж и сами догадались!..

— А как ее зовут?

— Марджори.

Стрикленд внимательно посмотрел на своего собеседника. Тот, похоже, принадлежал к тому типу мужчин, которые ни за что не выдадут женщину. Однако, с другой стороны, он был слишком умен, чтобы разыгрывать страдальца чести.

— Марджори... как?

— Просто Марджори.

— Она замужем?

— Само собой...

Русский улыбался, однако сквозь его приветливую внешность проскальзывала непоколебимая твердость. «Он, пожалуй, самый упрямый из всех!» — пронеслось у Стрикленда в голове.

— Так вы можете далеко зайти, мистер Андреев!

— Подумаешь!

— Не скажете ли вы мне по крайней мере, в какой части Лондона живет ваша подруга?

— Она живет в Белгравье, у нее золоченая гостиная, и когда она принимает русских, то подает чай в самоваре.

В этот момент раздался стук в дверь и появился Стори.

— Благодарю вас, мистер Андреев. Думаю, что мы продолжим наш разговор несколько позже.

Подождав пока русский выйдет, Стори сообщил:

— Я только что оттуда. Жертвой стала некая миссис Данком, бывшая в Лондоне проездом и проживающая в Карлайле, где ее муж является владельцем пивной.

— Она была хорошенькой?

— Весьма элегантною, вся в мехах и все такое прочее. Убили ее после того, как она вышла от своей подруги, миссис Роксби. Подруга не советовала ей выходить в такой туман и предлагала остаться у нее переночевать.

— Так почему же миссис Данком отказалась от этого предложения?

— Не знаю. Но миссис Роксби утверждает, что та все время поглядывала на часы.

— Вы уже знаете, какова общая сумма украденного?

— Еще нет, но это скоро будет установлено. Известно, что убитая носила при себе все свои деньги.

— А драгоценности тоже исчезли?

— Все, кроме опала.

— Так вы говорите, миссис Данком куда-то торопилась. Не возникло ли у ее подруги впечатления, что ту кто-то должен был ожидать?

— Возникло. Миссис Роксби даже пошугила на этот счет.

— Хорошо! Постарайтесь найти людей, с которыми миссис Данком вступала в контакт во время своего пребывания в Лондоне. Мистер Смит мог ведь вначале немного поухаживать за ней, а затем быть уверенным, что жертва сама придет к нему.

— Добрый вечер, доктор Хайд! Присаживайтесь, пожалуйста.... Хотя, погодите, не будете ли вы столь любезны подойти ко мне на несколько шагов?

Опираясь о спинку стула, доктор Хайд ехидно сказал:

— А вы что, только сейчас ее заметили?

— О чем это вы?

— О моей хромоте, — сказал Хайд.

— Когда я опрашивал вас в прошлую пятницу, вы все время сидели на одном месте, — как бы оправдываясь, сказал Стрикленд.

— Ну, знаете ли! А вы что, хотели бы, чтобы я скакал по периметру комнаты с одной только целью — привлечь ваше внимание к моей больной ноге? Вам нужен был виновный, и я предпочел, чтобы вы арестовали настоящего убийцу!

— Но Коллинз вовсе не убийца! Итак: где вы были и что вы делали сегодня около 18.30?

— Гулял.

— В такую погоду?

— А почему бы и нет? Я обожаю туман! Тут можно встретить кого угодно: и женщину, попавшую в беду, и привидения, и сумасшедших. Приключения, любовь...

— ...и смерть!

— Совершенно верно!

Собеседники без ложного стыда внимательно всматривались друг в друга. Молчание было прервано Мэри, просунувшей свою белокурую головку в проем двери:

— Вас просят к телефону, инспектор! Какой-то доктор Ханкок. Он говорит, что это срочно.

ГЛАВА XIV

МИСТЕР СМИТ — ДОКТОР ХАЙД

Было десять часов утра. Капризный луч солнца уже дважды вынудил Прайора пересесть с места на место.

— Шесть минус один — пять, — отчитывался Стрикленд перед своими шефами. — Приехав вчера вечером в пансион «Виктория», я вынужден был сделать выбор между майором Фэрчайлдом, профессором Лала-Пуром, мистером Крабтри, мистером Андреевым и доктором Хайдом. Я начал с майора. Он сказал, что около поло-

вины седьмого играл в бридж в своем «Колоннальном клубе» со своими партнерами-отставниками.

— Вы проверили это?

— Я поручил это сделать Фуллеру. Если только не предположить, что майор вездесущ, его можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Спешу добавить, что он единственный, кого можно исключить из этого списка.

— Но ведь подозрительно то, что он скрыл от нас, что в тот самый вечер, когда был убит месье Жюли, он все-таки выходил из гостиной и затем отказался объяснить нам причину этого.

— Для него это просто вопрос самолюбия. Если Коллинз находит особый вкус у апельсинов, купленных миссис Хобсон, то майор всему на свете предпочитает шотландское виски.

Стрикленд решил раскурить сигару, предложенную ему сэром Кристофером в начале беседы.

— Теперь о профессоре Лала-Пуре. Около шести часов вечера он находился в гостях у своего импрессарно, некоего мистера Хатуэйя. А примерно в двадцать минут седьмого он, по его словам, несмотря на сильный туман, пешком возвращался в пансион.

— Свидетели у него есть?

— Ни единого.

— А теоретически он мог бы успеть... совершить убийство?

— Конечно! Ведь мистер Хатуэй живет неподалеку от Морнингтон Кресцент, а профессор вышел от него, по словам самого импрессарно, в 18.10.

— Установите за ним постоянное наблюдение.

— Я тоже считаю необходимым принять эту меру. Что же касается мистера Крабтри, то он, похоже, всю вторую половину дня пробегал по магазинам, чтобы купить своей жене халат. Он вышел из пансиона около двух, а вернулся к пяти. Затем он вновь вышел без четверти шесть, а вернулся уже к ужину. Я думаю, что обслуживающая его продавщица могла бы подтвердить его слова, однако он отрицает это из боязни вызвать неудовольствие миссис Крабтри.

— А вы сами опросите девушек. Думаю, что найти их не представляет никакого труда.

— Я уже думал об этом. Я немедленно поручу это Мордонту...

— Кстати, а этот Крабтри... — задумчиво произнес помощник комиссара, — как он зарабатывает себе на жизнь? Вы знаете, чем он занимается?

— Разумеется.

Во взгляде Стрикленда появилась легкая игривость:

— Он занимается продажей по почте антигрыжевых бандажей.

— О, небеса! И что это ему приносит?

— Больше, чем вы думаете. Что же касается его жены, то она достаточно богата даже для того, чтобы жить в «Карлтоне», если ей заблагорассудится.

— Мне трудно понять, — вмешался сэр Кристофер, — как это ваши подозреваемые все, как один, не могут вспомнить, что они делали в прошлом месяце, а равно как и в декабре и ноябре. Ведь каждый может припомнить какой-нибудь случай, какую-нибудь мелочь, которая оживила бы в его памяти воспоминания о том дне.

— Я сомневаюсь в возможности этого, сэр! Ведь те, за кем нет никакой вины, большего бы и не желали, лишь только бы вспомнить все, что нужно. Среди них лишь один преступник заинтересован в обратном, и он прячется за факты провала памяти всех прочих невиновных. Дело в том, что все пансионеры миссис Хобсон ведут спокойную, размеренную жизнь, без всяких неожиданностей. Поэтому для них нет ничего труднее, чем припомнить какое-нибудь обстоятельство, подтвердившее бы их правдивость. Кроме того, если бы они даже «вспомнили», что в тот или иной день каждый из них сидел в своей комнате и читал или же гулял в парке, то это бы нам тоже ничего не дало бы. Ведь все их показания еще нуждаются в доказательствах.

— Гм! Ну так что же сказал мистер Андреев?

— Почти ничего. Он утверждает, что в это время находился в обществе одной замужней дамы. Превосходный предлог для того, чтобы не давать определенного ответа. Такое объяснение требует еще кое-каких разъяснений. И все же его слова навели меня на одну небезынтересную мысль! Искусный лжец всегда перемешивает правду с ложью. Кто знает, а не была ли эта дама той, которая впоследствии стала жертвой?..

— Не думаю, — ответил сэр Кристофер. — Андреев скорее назначил бы ей встречу в каком-нибудь ином

месте, например, на углу парка, где бы он меньше рисковал быть пойманным с поличным.

— Может, он так и хотел сделать, но ему это просто не удалось? Сегодня утром миссис Данком должна была ехать в Карлайл, как мне сообщили в гостинице, где она остановилась. Если моя гипотеза верна и мистер Смит, кем бы он ни был, на этот раз решил выбрать себе жертву заранее, чтобы уж бить наверняка, то у него не было уже больше времени тянуть. Боязнь упустить свою добычу объясняется и тем, что он решился еще на одно преступление, оправдав тем самым Коллинза.

— Но вы ведь привели нам не Андреева, а доктора Хайда!.. — нетерпеливо прервал его сэр Кристофер.

— Да, сэр. И я сделал это по четырем соображениям. Во-первых: как вы помните, месье Жюли был убит хирургическим скальпелем, взятым из инструментов доктора Хайда. Во-вторых: доктор хромает.

Таким образом, посмертное обвинение месье Жюли подходит и к доктору точно также, как и к Коллинзу. В-третьих: вчера, около половины седьмого, он, без всякой видимой причины, гулял по улицам в тумане. В-четвертых: произведя вскрытие тела месье Жюли, доктор Ханкок так и не смог обнаружить следов какого бы то ни было лекарства. Что перечеркивает историю, рассказанную нам доктором Хайдом 28 января вечером.

— Но ведь это вполне естественно, что, почувствовав себя плохо, месье Жюли обратился к доктору Хайду, — выступил в роли адвоката Роберт Прайор. — Но поскольку месье Жюли решил покинуть пансион, боясь мистера Смита, то, поборов первые минуты страха перед смертью, он мог не принять лекарство, которое могло бы оказаться ядом.

— Как же в таком случае объяснить то, что следы таблетки так и не были обнаружены?

— Вполне возможно, что месье Жюли выбросил ее в окно.

— Зачем? Впрочем, двор, как и комната был тщательно нами осмотрен, но никакой таблетки мы так и не обнаружили.

— А какая погода была в тот день? Ведь таблетка могла раствориться под дождем!

— В тот день стояла сухая морозная погода.

— Хорошо, допустим, доктор виновен. Но зачем ему тогда нужно было придумывать всю эту историю?

— Вероятно, из предосторожности. А вдруг кто-нибудь видел, как он входил в комнату месье Жюли, а он этого и не заметил?

— Короче, отрицательный результат при вскрытии, по-вашему, является наиболее веским обвинением в адрес доктора?

— Да. То усердие, с которым велись поиски, исключает любой вариант. Одно из двух: либо месье Жюли выпил таблетку, либо она существует лишь в воображении доктора.

С сожалением затушив в пепельнице окурок сигареты, Стрикленд посмотрел на главного комиссара, ожидая одобрительного взгляда.

— Я бы на вашем месте поступил точно так же! — сказал сэр Кристофер.

Доктор Хайд повел себя на допросе вовсе не так, как его предшественник. Несмотря на свою смертельную усталость, мистер Коллинз всегда старался отвечать вежливо и внятно, а доктор Хайд уже через десять минут замкнулся в оскорбительном молчании. Сидя перед полицейскими, которым было поручено склонить его к признаниям, доктор Хайд демонстративно рассматривал свои ногти, пренебрежительно и открыто зевал и погружался в глубокие раздумья. А когда его взгляд задерживался на том или ином полицейском, то он спешил его отвести, как бы подчеркивая, что это произошло чисто случайно и он боится испачкаться. Инспекторы безуспешно пытались спровоцировать его возмущение или вызвать в нем ярость. Намеки, казалось, не достигали цели, а угрозы лишь смешили. Время от времени его развязность доходила даже до того, что он начинал насвистывать всегда одну и ту же мелодию, и при этом отбивал ногой такт. Так что к вечеру уже в глазах добропорядочных Фуллера и Стори даже появилось искреннее желание совершить убийство...

Наконец Стрикленд сам пожелал остаться наедине с арестованным.

— Ваша система ни к чему не приведет, доктор Хайд! Рано или поздно вам все же придется погово-

ритель и объясниться. На что вы, собственно говоря, рассчитываете?

Доктор Хайд снизошел до того, что посмотрел на своего собеседника.

— Я ни на что не надеюсь, — ответил он глухим после длительного молчания голосом. — Я жду.

Хотя Стрикленд и догадывался, что последует за этими словами, он все же спросил:

— Ну и чего же вы ждете?

— Я жду, — уточнил доктор свою мысль, — когда мистер Смит совершит свое десятое убийство.

ГЛАВА XV.

«ПОТОМУ ЧТО ОН ТАКОЙ ВЕСЕЛЫЙ И ДОБРЫЙ ПАРЕНЬ!»

В своем самом любимом платье с кружевной манишкой — наиболее шелковистом и шуршавшем — миссис Хобсон стояла посреди столовой под полотном Джона-Левиса Брауна. Этим полотном миссис Хобсон заставляла любоваться своих посетителей еще до того, как показывала им свои комнаты. А ее «дети», как она называла иногда своих пансионеров, стояли по обе стороны от нее: трое — справа и четверо — слева, как бы неся почетный караул.

Мистер Коллинз, должно быть, на всю жизнь запомнил эту картину. Как только он, весь помятый, с потерянным взглядом, появился на пороге столовой, все восемь человек дружно грянули хором: «Потому что он такой веселый и добрый парень!» Тут же от группы пансионеров отделился бравый отставной майор и, подойдя к Коллинзу, встряхнул его так, как дог встряхнул бы муфту. Затем майор принялся убеждать Коллинза в том, что все его истинные друзья даже ни на секунду не усомнились в его невиновности. Дамы во что бы то ни стало желали приложиться к нему губами, всякая на свой манер. Миссис Крабтри расцеловала его в обе щеки, мисс Паутер сделала это смеясь, мисс Холленд лишь боязливо прикоснулась к нему, а миссис Хобсон кокетливо чмокнула. Его посадили перед огромным тортом, на котором было выведено кремом приветствие: «Добро пожаловать!»...

Этот теплый прием почему-то очень встревожил мистера Коллинза. Поначалу он только рассматривал окружающих блуждающим взглядом, полным вопросов, затем его губы задрожали и он, казалось, готов был расплакаться, но вдруг провел рукой по лбу, как бы желая отогнать прочь назойливые мысли.

— И-и-извините меня, — пробормотал он, — н-н-но я впервые в жизни в-в-вижу проявление и-и-истинной симпатии п-п-п-по отношению ко мне!

Он, похоже, хотел к этому еще что-то добавить, но его прервал мистер Андреев.

— Не стоит так умиляться, дружище! Мы ведь все перед вами в долгу!

С этими словами Андреев похлопал Коллинза по плечу.

— П-п-почему это?

— И вы еще спрашиваете! Да ведь благодаря вам пансион «Виктория» и его обитатели стали известны даже на континенте! Теперь миссис Хобсон вполне может вдвое повысить плату и количество пансионеров, и никто при этом не станет возражать.

— Я стану возражать! — запротестовала миссис Крабтри.

После этого вступления все поспешили сесть за стол. В тот вечер Дафна, вовремя вспомнив о том, что мистер Коллинз питает слабость к рагу из баранины, превзошла саму себя в приготовлении этого блюда. Мистер Коллинз, однако, почти не притронулся ни к чему. Казалось, что на его хрупкие плечи наваливалась какая-то все более и более тяжелая ноша.

— Скажите-ка... — неожиданно произнес майор, — а правда ли то, что рассказывают об этом так называемом допросе «третьей степени»?

— Нет, нет... — вздрогнув, ответил мистер Коллинз. — Со мной обходились как следует...

— Ну а лампой-то в лицо все же светили, постоянно задавая при этом вопросы?

— Да, да... р-р-разумеется.

— Но вы, несмотря ни на что, сопротивлялись до победного конца?

— Н-н-нет, я все-таки не выдержал и сознался.

— В чем же вы сознались, если вы невиновны?! — спросил майор, чуть не задохнувшись от негодования.

— Я... мы в-в-в-се в той или иной с-с-с-степени виновны. К тому же я понял, что они оставят м-м-меня в покое при условии, если я им с-с-скажу то, что они хотят от меня услышать!

— В таком случае вам чертовски повезло, что мистер Смит решил продолжить серию своих убийств. А то они могли бы и не отпустить вас вовсе!

Поднеся стакан к губам, мистер Коллинз с видом фаталиста в ответ лишь пожал плечами.

— Ей-богу, такое впечатление, что вы вовсе не рады вновь очутиться среди нас! — добавил майор.

— Н-н-напротив, я очень рад!.. Я т-т-только боюсь, что мне п-п-понадобится несколько дней, ч-ч-чтобы прийти в себя.

— Ну конечно же! — поддержала его мисс Паутер. — Сдержите свое любопытство, майор, иначе мистер Коллинз вскоре начнет сожалеть о том, что покинул стены Скотланд-Ярда!.. А-а-а, вот и мистер Джекилл! — тут же машинально добавила она, поскольку раздался звонок в дверь.

Но в ту же секунду ее взгляд остановился на опустевшем месте доктора Хайда, и она прикусила губу.

В столовой воцарилось тяжелое молчание. Да, Коллинза отпустили, и тем не менее в их ряды все же сумела затесаться паршивая овца.

Миссис Хобсон решила спасти положение, обратившись к мисс Холленд.

— Дорогая моя, я ведь не стала возражать, когда вам принесли в подарок двух котят по имени Найт и Дей; я также ничего не сказала вам позавчера, когда вы получили в подарок от мистера Мэллоуна из «Дейли Телеграф» ангорскую кошку. Но, откровенно говоря, те шестеро рыжих котят, прибывших вскоре вслед за кошкой, переполнили чашу моего терпения. Кажется, журналисты основали у нас в пансионе какой-то питомник по разведению котов. Бога ради, дайте им то, чего они от вас ждут и скажите, чтобы они дарили вам что-нибудь другое!

После ужина Андреев подошел к майору:

— Да, мой друг, вы были правы, когда выражали сомнения относительно виновности Коллинза, — сказал он тоном, в котором его собеседник не смог различить

ни малейшего следа иронии. — А вот верите ли вы в виновность доктора?

— Железно!

Русский, казалось, какое-то время обдумывал этот ответ, а затем сказал, покачав головой:

— А я вот — нет. Хотите пари? Ставлю десять против одного.

— Идет!

Мисс Паутер тем временем флиртовала с профессором Лала-Пуром:

— Скажите, профессор, не нужна ли вам случайно ассистентка? Она могла бы комфортабельно лежать в воздухе, опираясь лишь затылком и пятками о спинки стульев, или отгадывать с завязанными глазами возраст зрителей из первого ряда.

— К сожалению, мисс Паутер, мне не нужна ассистентка.

— Вы ведь у нас факир, верно?.. Да, да, вы — факир, не спорьте! Мне бы хотелось узнать, на ту ли лошадку поставил Скотланд-Ярд на этот раз?

— Вы хотите спросить, арестовали ли они настоящего преступника? Я, конечно же, надеюсь на это.

— И все же вы относитесь к этому скептически?

— Да, — с сожалением признался индус. — Доктора арестовали, уличив его во лжи. Но настоящий мистер Смит не попался бы на таком пустяке.

Первым гостиную покинул Коллинз. Его примеру вскоре последовала миссис Хобсон, которой нужно было пройти в свой кабинет уладить кое-какие дела. Вслед за миссис Хобсон ушел и Андреев.

— Извините меня, дорогая, — сказал он, входя к ней. — Меня тревожит ваш озабоченный вид. Что случилось?

— Да ничего... — ответила миссис Хобсон.

— Вы грустите?

— Нет, — ответила миссис Хобсон вяло.

С самой их первой встречи она мечтала остаться с этим человеком наедине и дать ему понять... Она сделала над собой усилие:

— Майор сказал нам... Это правда, что вы были женаты на индианке?

— Самая что ни на есть правда. Она пела, как со-

ловей, но затем утонула в быстрых водах горной речки. Эту роль играла Элионор Саймондс.

— Слава Богу! — воскликнула миссис Хобсон, прижимая руки к сердцу.

Русский слишком хорошо разбирался в женщинах, чтобы с первых же слов не понять, чего она от него ждет. Тем не менее он посчитал должным спросить:

— Почему?

Он просто не мог удержаться от этого вопроса. Ему нужна была уверенность...

Но он ее не получил. «Я вижу у него седину! — весело подумала миссис Хобсон. — И он наверняка года на три-четыре старше меня...»

— В тон-ателье, наверное, полно... хорошеньких женщин?

— Да.

— И они... и вы находите их привлекательными?

— Да, — повторил Андреев.

Подождав, пока эти два утверждения достигнут цели, он, совершенно неожиданно, добавил:

— И бесконечно глупы!

Миссис Хобсон почувствовала, что ее сердце заби-лось чаще:

— Неужели?

Даже под пыткой из нее не удалось бы вырвать ничего больше.

— К тому же они все плоские, как доски, — сказал русский напоследок с чувством глубокого убеждения.

Примерно минут двадцать спустя на втором этаже раздался какой-то глухой удар. Многие пансионеры, среди прочих и супруги Крабтри, майор Фэрчайлд и профессор Лала-Пур, поспешно выскочили из гостиной, чтобы узнать, что там произошло.

Дверь комнаты мистера Коллинза оказалась приоткрытой и все увидели, как тот с трудом, при помощи Андреева, встает с пола, потирая себе при этом челюсть.

— Что здесь, черт возьми, происходит? — поинтересовался майор.

— Ничего особенного, — ответил Андреев. — Просто Коллинз упал и ударился об угол стола... Верно я говорю, дружище?

— Вот оно что! — буркнул майор. — А с чего бы это ему вдруг вздумалось падать?

— Н-н-не знаю! — проблеял Коллинз. — Н-н-наверное, у меня з-з-закружилась голова...

Было такое впечатление, что он изо всех сил желает, чтобы ему поверили. Вероятно, именно поэтому его объяснение никого и не убедило.

Окончание следу

Перевод с французского Алексея ДРОЗДОВСКОГО
и Екатерины ДРОЗДОВСКОЙ



Рассказы

Постояльцы

Шаги за дверью смолкли, и наступила тишина. Словно кто-то стоял там, прижавшись ухом к замочной скважине, и прислушивался к биению моего сердца. Я чувствовал его учащенное дыхание, и его ожидание, исполненное нетерпения, передалось мне. Я встал, закрыл книгу и снял дверную цепочку.

В сером свете подъезда стоял тщедушный старичок. Из-за его спины робко улыбалась женщина, украшенная ленточкой.

— Вы случайно не сдаете комнату? — дрожащим голосом осведомился у меня старик и сунул нос в щелку.

Я отрицательно покачал головой, но женщина не дала мне и рта открыть:

— Вы же отправили семью на море и до осени будете здесь одни.

— Откуда вы знаете? — удивился я.

— Сердцем почуяла, — женщина одарила меня улыбкой своих медовых глаз.

— Ничем вам помочь не могу, — ответил я. — У меня нет места.

— Ничего, нам и этого угла хватит, — перебил меня старик и поставил в угол чемодан.

— Идите в гостиницу, — предложил я.

— У вас нам будет лучше, — подмигнула женщина.

Я схватил чемодан и выставил его в подъезд, но тут старик внезапно пошатнулся и с перекошенным

лицом осел на пол. Женщина завизжала. Как изменчива наша жизнь! Еще минуту назад, погруженный в книгу, я наслаждался картинами незапамятных времен, а теперь вдруг оказался вынужден искать капли, чтобы привести в чувство какого-то пришельца!

— Не нашли? — зарыдала женщина. — Что же делать? Может, сбегаете в аптеку, ведь отец умирает...

Что мне оставалось делать? Я схватил сумку и помчался в аптеку. По дороге еще забежал в гастроном и купил мясо.

Вернувшись домой, я долго звонил в дверь. Наконец мне открыли. Лицо у женщины было явно заспанное.

— Ваш звонок еле слышен, — зевнула она.

Старик сладко спал в моей постели. Завернувшись в одеяло, он уткнулся в подушку и оглушительно храпел.

— Обычно после приступа он засыпает как убитый, — женщина утерла слезу. — Закроет глаза и все. Так и боишься, чтобы во сне не помер.

— Как вас зовут? — осведомился я.

— Хатуна, — улыбнулась она.

— Вы, наверно, есть хотите, — я протянул ей сумку, давая тем самым понять, что и в гостях не грех помочь по хозяйству.

Хатуна взяла мясо и удалилась на кухню. На минуту воцарившуюся тишину прервал грохот разбившейся тарелки. Сиреневым пламенем вспыхнул газ, повалил клубами дым, и я почувствовал запах горелого. Хатуна висела на телефоне и кому-то кричала в трубку:

— Марабдинская улица, тридцать семь. Как выйдешь с рынка, не доходя до аптеки, свернешь направо, там, где маклерская биржа. Второй подъезд, четвертый этаж...

— По-моему, достаточно, — сказал я и выключил газ.

— Еще не готово, — ответила Хатуна, надкусив мясо. Затем, вернувшись к телефону, продолжала: — Квартира двадцать четыре. Как поднимешься, первая же дверь, морковного цвета. Я ее крестиком пометила...

Я вышел в кабинет и, не раздеваясь, повалился на кушетку. Я просто не знал, что и думать о непрошенных гостях и решил обращать на них поменьше внима-

ния, после чего погрузился не в сон, а в глубокую, беспросветную бездну забвения. Было уже за полночь, когда меня разбудил сильный стук. Я не понял, было ли то биение сердца или приближающееся землетрясение, но где-то в глубине что-то рвалось, сотрясая весь дом. Не выдержав, я вскочил и прошел в спальню.

— Папе плохо, — прошептала мне Хатуна.

Старик в одном нижнем белье стоял на кровати и бился головой об стену.

— Не подходи! — закричал он и швырнул в меня подушкой. — Кто дал тебе право выселять меня?

— С чего это он взбесился? — рассердился я.

— Солнечный удар, — всхлипнула женщина.

Я бросился к телефону и набрал номер «Скорой». Старик разом успокоился и снова лег.

— Не звони, — поморщившись, попросил он. — Прошло уже.

На рассвете мой сон опять был нарушен. Скрипнула дверь, и в комнату проскользнула женщина. Ее лицо и тело в обрамлении спадавших водопадом волос, пылали. Она на цыпочках приблизилась, прилегла рядом со мной и обожгла меня прикосновением жарких губ. Незнакомый аромат закружил мне голову, я оторвался от постели и улетел вместе с женщиной куда-то в преисподнюю. Вокруг был туман. Пламя хвостатой кометы сражалось с вымазанной дегтем ночью. Нежные пальчики, браслетом стиснув мое запястье, влекли меня к этому пламени. Тяжесть обливающегося потом тела сменилась легкостью падения. Я грохнулся вниз, и побледневшая, растворившаяся в воздухе женщина, как слизь, облепила меня. Воцарилась тишина. Даже не тишина, а какое-то невообразимое безмолвие, словно я лежал на дне могилы. Ведьма уже сидела на мне верхом и пыталась снять с меня рубашку. Затем она с наслаждением замычала, разлепила губы и вцепилась мне в горло, но в это время рассвело, и солнечный зайчик заглянул в бездну. Я почувствовал, как ослабли когти и как стало легче дышать. Женщина задрожала от злости, метнулась прочь и, легкая, как тень, растаяла в сумраке.

Утром на мою голову свалился Мурман. Этот здоровенный, бритоголовый молодец оказался братом Хатуны. Не успели ему открыть дверь, как он сбросил со

спины огромных размеров мешок и втащил его в комнату. Как он меня нашел? Неужели постояльцы заранее облюбовали мою квартиру? Мурман развязал мешок, из которого сначала вылетело несколько кур, а затем вывалился целый сноп зелени.

— Ну-ка, быстренько помой! — велел он сестре. — Рынок уже открыт, спозаранку пойдет подороже.

Хатуна пустила воду в ванну и бросила туда сноп зелени. Кур она привязала там же, к основанию крана. Увидев меня, засмуцалась и потупилась. Мурман открыл холодильник, достал оттуда «боржоми», зубами откупорил бутылку и опрокинул себе в пасть. Затем, вооружившись моими бритвенными принадлежностями, намылил себе щеки. В это время скрипнула кровать. Обернувшись, я увидел старика, который, сидя на подушке, что-то непрерывно бормотал и качал головой, словно верблюд. Хохол, подвязанный лентой, дыбом стоял у него на голове. Завершив молитву, старик затеплил свечу, развел от нее огонь в камине, вытащил из-за пазухи куриную ногу и бросил ее в огонь. От запаха горелого у меня закружилась голова и зарябило в глазах. Комната перекосилась, стены заходили волнами. Старый шаман замахал кадилом, и я оказался в плену у пестрого дымного дракона. Дракон разинул пасть, лизнул меня багровым языком пламени и сказал:

— Не забывай, что и ты гость на этой земле.

С этими словами дым рассеялся, а огонь забрался обратно в камин. Сиплый старческий голос затянул какую-то песню. Пение прервал громкий петушиный крик. Крик этот тоже резко оборвался, и вокруг меня запрыгало обезглавленное тело петуха... Окровавленная рука старика рисовала на стене хвостатую комету.

Я хотел бежать прочь, но тело мое отяжелело, я с трудом разорвал сгустившийся воздух и вышел во двор.

— Какой ты бледный, не заболел случайно? — остановил меня сосед.

— Пропал мой отдых, — отвечал я. — Похоже, отняли у меня и одиночество, и покой.

— Наверное, вирус какой-нибудь, — утешил меня он. — Эти вирусы с базара распространились по всему городу. Ешь как можно больше чеснока.

Я пошел на рынок и купил чеснок. Уже начав рас-

пространять изрядное зловоние, я сунул недоеденные головки в карман и вернулся домой.

Войти в квартиру самостоятельно я, однако, не решился.

— Батоно Георгий! — позвал я соседа. — Загляните ко мне на минутку, пожалуйста.

Я повернул в замке ключ и пропустил соседа вперед. В прихожей никого не было. Нигде не было никаких следов моих постояльцев, я обожегал всю квартиру и убедился, что она свободна.

— В чем дело? — подбоченившись, поинтересовался Георгий.

— Посмотрите на потолок, кажется, там вода протекла.

Георгий нацепил очки, оглядел гладкую белизну потолка и сказал:

— Ничего не заметно. — И, обернувшись ко мне, добавил: — Проветри квартиру и оставь свои дурацкие подозрения.

Я распахнул окно и прилег на кушетку. Может, действительно, все это — ерунда? Своего рода расслабленность и несдержанность? Я здорово переутомился в эти дни. Бегал за путевками, отправлял семью. К тому же весь отдел в отпуске, и мне одному приходится работать за десятерых. В общем, надо отдохнуть. Главное, не следует думать об этих назойливых постояльцах, их надо убрать из поля зрения и с горизонта сознания. Но чем упорнее стараешься избавиться от навязчивой идеи, тем менее тебе это удается; поэтому у меня снова зародилось сомнение. Мне опять стало казаться, что я не один. «Они где-то здесь, они прячутся от меня», — подумал я, и тут снизу послышался шум. Я свесился с кушетки и стал шарить под нею. Ничего, кроме заплесневелой туфли, я там не обнаружил. Тогда я вооружился зонтиком и стал шарить им в глубине. Ага, попался! Тот, кто прятался под кушеткой, некоторое время сопротивлялся, но затем все-таки выполз на свет.

— Ах ты, хитрюга! — погрозила мне пальчиком покрытая паутиной Хатуна. — Как это ты меня отыскал?

Квартира снова зашумела. Коридор опять наполнился доносящимся из спальни храпом. Стены, расписанные фресками и оживленные строками, словно пла-

мя, поглотил женский визг. Тучи затянули потолок, от молнии раскололся пополам белый купол, и на меня, вместе с градом, обрушился с небес дьявольский хохот. Вой и причитания рассекло шелканье бича. Стены дрогнули; вновь появившиеся трещины поросли мхом и плющом. Среди развалин показался Мурман, он взглянул на раскаленное небо и сказал:

— В такую жару продавать зелень — это тебе не фунт изюму. Может, пойдешь вместо меня на рынок? Возьму в долю.

— Как ты смеешь! — вспыхнул я.

Мурман выхватил из-за голенища кнут и хлестнул меня по лицу.

— Чего орешь? Глухой я, что ли?

Боль поразила меня, как молния. Колени подогнулись, и я сел. Кнут вытянул меня по спине.

— Встань, когда с тобой разговаривают.

— Да тише ты! — вцепилась в руку брату Хатуна. — Забыл, что мы — постояльцы? Простите его, пожалуйста, — обратилась она ко мне. — Он у нас не отесанный, ничего не смыслит, но сердце у него доброе, мухи не обидит.

Тут я услышал боевой клич. Грохнул выстрел. Поднялся дым. На балкон верхом на палочке приземлился какой-то мальчик.

— Это сын Темура, мой двоюродный брат, — объяснила Хатуна. — Его мать ходит на курсы кройки и шитья, и ей не с кем оставить его дома.

Теперь взорвалась граната. Дверь вылетела и стала видна комната. Сынок Темура воевал с посудным шкафом и безжалостно крушил врага.

— Ах ты негодяй! — бросилась Хатуна вдогонку за пулей умчавшимся всадником.

Я не узнал собственную квартиру. Картины были замазаны мелом, потолок закопчен дымом. На стене висел ковер, по полу бегали куры. Вдоль и поперек комнаты были натянуты веревки, на которых сушилось белье. Радио вещало на непонятном языке и омерзительно пело. В углу была насыпана земля. В ней росла зелень. Комнатный огород был обнесен загородкой из паркета. Некогда уютная, по моему вкусу обставленная квартира, изменилась до неузнаваемости и стала совершенно чужой.

— Что, не нравится? — усмехнулся Мурман.
Для тебя же стараемся, у нас-то земли и за городом полно. А с этого огорода получишь урожай, расправишь плечи, мужчиной себя почувствуешь...

— Убирайтесь вон! — заорал я.

— Опять он за свое, — вздохнула Хатуна.

— Трудно вразумить человека, — Мурман расправил свой кнут. — На кой черт нужна нам эта квартира, если хозяин не переменялся и торчит в нашей семье, как заноза?

— Твой метод не годится, Мурман! — с этими словами кто-то открыл дверь и верхом на коне въехал в комнату.

— Будем знакомы — Темур!.. — он соскочил с коня и, прихрамывая, подошел ко мне.

Я не кивнул ему в ответ и не подал руки.

— Не сердитесь на нас, — улыбнулся он. — Вы наслаждаетесь одиночеством и прохладой в этом трехкомнатном раю, а мы там, внизу, в пустыне, изнемогаем под палящим солнцем.

— Идите в гостиницу, — предложил я.

— Никуда мы не пойдем. Пустим корни здесь и посмотрим, за кем останется поле битвы.

Меня охватил гнев. Не сдержавшись, я стукнул кулаком по столу.

— Уж не собираетесь ли вы нас выгнать? — снова улыбнулся мне Темур. — Неужели совесть позволит вам выгнать на улицу этого старика, стоящего одной ногой в могиле, или моего ребенка, у которого вспухли железки, или меня, инвалида войны, приехавшего в город подлечиться? Давайте лучше заключим мир. Места хватит всем. Потеснимся, породнимся, а потом так расширимся, что и соседние квартиры займем.

Темур снял шлем и огляделся.

— Я недавно совершил кругосветное путешествие, — продолжал он. — Побывал даже в Индии, где население живет невыносимо скученно. Там, например, в такой квартире проживает не менее девяти душ.

— Стало быть, нам еще троих не хватает, — заключил Мурман.

— Я сейчас позвоню, скажу, чтобы вришли, — бросилась к телефону Хатуна.

Я взял нож и перерезал провод.

— Ты погляди на него, сколько себе позволяет!
замахнулся на меня Мурман.

— Как можно бить? Мы же не дикари, — покачал головой Темур. — Нынче открытое насилие не в моде — отсечение головы, сожжение дома и тому подобные ритуалы. Экономика! Деньги! Вот то оружие, которым можно победить человека! Когда мы завалим эту квартиру всевозможным добром, набьем подушки золотом и серебром, тогда-то он и уверует в нашу силу и великодушие.

— Не нужно мне ваше великодушие! — закричал я. — Я сам готов заплатить вам, только уходите отсюда, оставьте меня в покое.

— Ты неискренен, — улыбнулся Темур. — Ты хочешь быть с нами, но не хочешь в этом признаться даже самому себе.

— Иначе зачем тебе было искать нас? Кто тебя заставлял шарить под кушеткой и вытаскивать меня оттуда? — спросила Хатуна.

— Наверное, ты ему понравилась, — продолжал Темур. — Чего только не сделаешь из любви! Такие женщины, как ты, на дороге не валяются. Пусть никто не думает, что тебя легко заполучить. Надо еще заслужить право быть твоим мужем.

— Я, как только его увидела, сразу влюбилась и чувствую, что он тоже ко мне равнодушен, — проговорила Хатуна.

— Я еще в своем уме и могу сам разобраться в собственных чувствах, — отвечал я. — Поэтому чем скорее мы расстанемся, тем лучше.

Внезапно послышался визг. С заплесневелой люстры кто-то спрыгнул мне на спину. Во рту у меня оказались удила, а в бока вонзились шпоры. Не успев опомниться, я сорвался с места и галопом помчался куда-то. Невидимый всадник повизгивал у меня над ухом и драл мне волосы. «Н-но, лошадка, н-но!» — хлопала в ладоши Хатуна, и я тщетно пытался справиться с собою — ноги мои бежали сами. Тут вскочил в седло и Темур. Я почувствовал, что он скачет рядом и, оглянувшись, вскрикнул от изумления: в стиснутом Темуровыми ляжками скакуне я узнал своего почтенного соседа Георгия! Он отчаянно вертел головой и, оскалив зубы, мчался вперед. Вскоре квартира пропа-

ла, и теперь мы скакали по какой-то темной пустыне. То была не ночь, но и не день. Солнце, луна и звезды одновременно освещали черно-красное небо. Охваченная пламенем бездна выпускала клубы желтого дыма. «Н-но-о! Н-но-о!» — ревел Темур, и пашня из строчек с бешеной скоростью влекла меня к краю земли, в плещущие, как наваждение, волны, где дремал корабль, полный невольников. Неприятное, тяжелое и в то же время сладкое, как шербет, чувство тянуло меня к этому кораблю. Не помню, как мне удалось повернуть, преодолеть это пьянящее чувство, как я оторвался от пылающих строчек и, обессиленный, упал на кушетку...

— Довольно, не убивай дядю, — и Хатуна погладила по голове соскочившего с моей спины мальчика.

Снова заскрипела кровать. Старик опять поднял голову и затянул свою бессмысленную молитву. Потом он затеплил свечу, вытащил кинжал и произнес:

— Курицу мне!

Хатуна бросилась ловить кур, но так ни одной и не поймала и остановилась в растерянности.

— Да вот же курица! — воскликнул Мурман.

Прежде, чем я успел опомниться, он схватил меня и прижал головой к столу.

— Счастлив ты, сын мой, тем, что будешь принесен в жертву нашему богу, — сказал мне старик. — Над твоим вечным пристанищем взойдут укроп и петрушка. Прямо с Марабдинской улицы ты перенесешься в рай.

— Не бойся, — улыбнулся мне Темур. — Это не более, чем ритуал. Тебя просто испытывают, чтобы убедиться в твоём мужестве и принять в наш караван.

Старик замахнулся. Внезапное дребезжанье звонка прервало мой вопль и остановило занесенную надомною руку с кинжалом.

— Кого еще черт несет? — поинтересовался Мурман.

— Понятия не имею, — пожал плечами Темур и, подтолкнув меня к двери, велел: — Иди открой.

Я дрожащей рукой отпер дверь.

— У вас за газ не уплачено, — протянул мне квитанцию какой-то мальчишка, но не успел он договорить, как я уже сломя голову мчался вниз по лестнице.

В тот же день я написал жалобу и отправился в

суд. Огромное стеклянное здание переливалось в солнечном мареве, окрашенное игрой лучей и словно состояло только из них. Между колонн возвышались богини Возмездия. Купол был увенчан верхушкой грома. вода. Застывшая молния наискось пересекала резные двери. Каменный лев с разинутой в мощном рыке пастью стоял на страже мраморной лестницы.

Все это, то есть передний фасад правосудия, оказался картонной бутафорией. Задняя и боковые стены покосились и были все в трещинах. Потолок тоже пересекала трещина, и штукатурка снегом лежала на картонном мраморе. Ветер играл двустворчатой дверью. За дверью сидели судебные чиновники и услаждали себя чаепитием. У огромного письменного стола сидело круглое, как шар, облаченное в чоху существо и без передышки что-то печатало.

— Проходите, садитесь, — соскочило со своего места существо в чохе и быстрым, легким шагом, неожиданным при его полноте, направилось ко мне.

— Я хочу представить жалобу, — начал я.

— Опомнитесь, называется, — мотнуло оно головой. — Мы уже закончили разбор вашего дела.

— И что теперь со мною будет? — дрожащим голосом осведомился я.

— Надо бороться! — ответило оно и вдруг спросило: — Вы в детстве не страдали вздутием живота и головокружениями?

— Значит, я должен уступить свой дом торговцам зеленью? — завопил я.

— Почему же зеленью? — удивился следователь. — Некоторые из них заняты полезной деятельностью. А «вату» сладкую ели?

— Что, что?

— Короче говоря, дело очень сложное. Закон гласит: бездомный гражданин, остававшийся в квартире в течение суток, не может быть привлечен к ответственности. Положение осложняется и тем обстоятельством, что ваши постояльцы снабжают рынок сельскохозяйственной продукцией.

— Что же мне делать?

— Примиришь со своей участью. Мы не такой уж большой народ, чтобы донимать друг друга внутрен-

ними сварами. Не обращай на постояльцев ^{внимания,} будто их и нет вовсе.

— Обманывать самого себя?

— Ты предпочитаешь вынести свои семейные дела на всеобщее обозрение?

— Именно оттого, что мы прячем друг от друга свои раны и не подаем виду, что они у нас есть, мы и истекаем кровью.

— Золотые слова! Вы истинный сын своей отчизны, настоящий герой! Забудьте мой совет! Я лишь испытывал ваше мужество! Будем бороться! Мы должны одолеть врага! Завтра же я созову консилиум! Заодно и литературу просмотрю. А послезавтра вечером пожалуйте ко мне домой.

И под громовые аплодисменты чиновников следователь протянул мне свою визитную карточку.

Могу ли я ждать до послезавтра? Эти мерзавцы так быстро размножаются, что уже завтра, быть может, мне в собственном доме шагу ступить негде будет. Я должен сегодня же объявить им войну, чтобы завтра дело сдвинулось с места, и я мог вернуть утраченное! Это решение заставило меня на полдороге изменить курс и оказаться на той улице, где жил следователь. Вскоре я заметил знакомый шарообразный силуэт, который выскочил из машины и с поспешностью загулявшегося ребенка вкатился к себе в дом.

— Его нет дома, — ответствовал на мой звонок дребезжащий женский голос.

— Я подожду, — не сдался я.

Дверь открылась, и показалось заплаканное лицо женщины.

— Сегодня приема нет, приходите завтра.

— Дело величайшей важности, и время не терпит, — я навалился на дверь и очутился в темной приемной.

Женщина утерла слезы, склонила голову и закрыла за собою дверь в комнату.

Я сидел долго. Вокруг царила могильная тишина. Такая тишина бывает в момент поднятия занавеса, когда вот-вот должно разыгаться представление, которое проводит некая незримая, недоступная разуму воля. Быть может, и сам этот необычный день был заверчен моим ожиданием, смешанным со страхом? Я не мог ни различить, ни почувствовать границу, отделяв-

шую мой страх от созданного этим страхом мира, и переживал все вместе, как судьбу, как неизбежность, сила которой по собственному усмотрению разрывала картины с героями моего воображения. Из-за двери не доносилось ни звука, однако, когда ухо привыкло к тишине, равновесие безмолвия нарушилось и откуда-то из глубины послышалось гудение. Я не разобрал, то ли это кровь стучала у меня в висках, то ли за стеной дышало какое-то чудовище. Увязанная в сноп тишина вдруг развернулась веером, и на фоне гудения явственно обозначились женские всхлипыванья, шелканье бича и глухой, утробный стон мужчины. Я не вытерпел, вскочил и распахнул дверь в комнату.

— Не входите, он сам к вам выйдет! — зарыдала женщина и, обливаясь слезами, заключила меня в свои объятия.

В комнате стоял дым коромыслом. Туман застилал глаза и сознание. Когда же дым рассеялся, я увидел разведенный посреди комнаты огонь, а над ним — огромных размеров котел. Справа стоял Темур, слева — Мурман. Между ними изнемогало полуголое существо, которое мои постояльцы по очереди били кнутом. Тело несчастного совершенно посинело от побоев. Постаревшее лицо корчилось от боли. Боже милостивый! В этом измученном существе я узнал моего следователя! Пот градом катился по его лицу, а сам он, извиваясь при каждом взмахе свистящей плети, помещивал в котле гигантской поварешкой.

— Это мои друзья, Джемал и Омар, — улыбнулся мне следователь, утирая пот. — Приехали в город на экскурсию и вот — уважили меня, навестили. А по вечерам мы варим сладкую вату, не на продажу, разумеется, а так, для забавы. Знаешь, какая вкусная? Попробуй, если хочешь, а не хочешь, так хоть детям отнеси.

— Нечего время терять! — прикрикнул на него Мурман. — Завтра ее на рынок нести! Прошу прощения, — повернулся он ко мне и, сделав шаг навстречу, хлопнул у меня перед носом дверь.

Придя в себя, я обнаружил, что стою на улице. Паутина солнечного золота опутывала пригорюнившийся город. В пламени солнца догорали караван-сарай,

стена, крепость и башня. Через Гянджинские ворота в город лавой текла орда врагов...

Ночевал я на вокзале. пылая гневом, я так и не мог уснуть. Припозднившееся солнце и поторопившаяся луна разливали по небу золото и серебро. Сияющие четки лучей рассыпались звездами по всему небосклону. Суматошный день истек, и на платформу снизошел ночной покой. Гудок поезда не нарушил его, но даже исполнил этот покой своеобразным уютом. Поразительно! Под этим мягким вечерним небом, в лучах полной таинственности луны кипел гнев, набирая силу, чтобы преградить путь несметному войску, огнем и мечом уничтожавшему мою, созданную одним лишь самоотвержением, страну.

С рассветом я был уже в суде. Судья, достопочтенный Амилахвари, дремал у весов Фемиды. Я скрипнул дверью и кашлянул. Амилахвари поднял голову и уставился на меня красными с похмелья глазами.

— У меня отобрали квартиру, — начал я.

— Да что ты! — перебил судья и в гневе стукнул кулаком по столу. — Что себе позволяют эти попрошайки!

— Они и следователя захватили, — выдохнул я.

— Знаю, — проговорил Амилахвари. — Он ведет себя очень мужественно — в такую жару носит чоху, однако на шее все же заметны следы плетки. Посмели бы они со мною так! Ну-ка, сюда бы их!..

— Мы здесь, батоно Нугзар! — занавес отодвинулся и показалось улыбающееся лицо Темура. — Ты же нам на сегодня назначил прийти.

За занавесом, в темном коридоре, сверкали тысячи глаз. В горящих взорах хищников отражались злоба и ненависть. Разбившийся на отдельные лучи свет попеременно выхватывал из тьмы круто изогнутые носы. За моей спиной слышался шорох. словно морская волна накатилась на прибрежный песок. Не успел я оглянуться, как зал уже был полон народом. Черные, сгустившиеся тени строчками выстроились в ряды. Темуровы родственники прошли по коридору и заняли галерку. Зрители замерли в ожидании схватки.

— Господа! — поднялся сам Амилахвари. — Сегодня нам надлежит рассмотреть чрезвычайно возмутительный случай, происшедший в результате, так ска-

зять, внутрисемейной распри: дело, на первый ^{взгляд,} парадоксальное и смешное, но по сути своей ^{весьма} сложное и значительное!

Грянули такие аплодисменты, словно нетерпеливая толпа заранее благодарила за предстоящее развлечение.

— Правда, — запел Амилахвари, — немного неловко копаться в человеческой душе, выставляя на всеобщее обозрение то, что человек предпочел бы скрыть от самого себя, однако не станем забывать, что именно из человеческой души тянется та невидимая нить, которою выткан многоцветный ковер исторических событий!

Снова аплодисменты.

— Перед вами жертва насилия, — погладил меня по голове Амилахвари. — Из-за мягкости своего характера, добросердечия и доверчивости он ныне остался без крыши над головой. Именно наш характер, а вовсе не рельеф, является тем ключом, который открывает дорогу к нам врагу!

— Долой захватчиков! — взорвался зал. В ложе раздался пистолетный выстрел и красно-зеленый факел пронзил потолок.

— Однако тот же самый характер, — вскочил следователь, — есть сокровище, доставшееся нам в наследство от предков. И поэтому лучше уж потерять квартиру, чем учиться грубости и забывать законы гостеприимства.

— Слава гостю! — весь зал встал на ноги. Оркестр грянул туш.

— Нам этого и надо, — пошел в атаку Темур. — Ведь главное — это душа, а не тело. Проявите великодушные и подарите нам квартиру!

— У вас и так до черта квартир за городом, — заявил Амилахвари.

— Климат зато суровый, — парировал Темур. — Наше племя не выносит резкого перепада температур.

— А документ у вас есть? — не сдавался судья.

— Ну-ка, встань, — дал подзатыльник Темур своему отпрыску, предъявляя правосудию собственную плоть и кровь.

— Поглядите, как у него вспухли железки, — по-

тер он у сына за ушами. — По-вашему, можно ему вести кочевую жизнь?

— Бедняжка! — утер слезу следователь. Они ведь тоже люди!

— Это еще не все, — Темур хлопнул в ладоши, и занавес раздвинулся. На сцену вкатили мою кровать. На ней спал давешний мерзкий старик. Темур выстрелил из пистолета, и спящий мгновенно пробудился.

— На основании развития науки и техники, — прогремел он, — с помощью молниеносных ударов можно захватить весь мир! — с этими словами он расчесал свой вихор, высунул язык и стал корчиться в судорогах.

— Не мучьте его! — закричал следователь. — Вы же видите, что он при последнем издыхании!

— Гнать умирающего из дому! Где у тебя совесть?! — кричали мне из зала.

— Не верьте им, братья! — поднялся я. — Точно так же они и меня обвели вокруг пальца, разжалобили, заставили открыть им дверь, а потом обобрали до нитки. Завтра они возьмут на мушку вас. Забудьте свою отзывчивость, объединитесь и стеною преградите путь хищникам!

Зал разразился громовыми аплодисментами.

— И это вместо благодарности? — запричитал Темур. — Ну какой же я хищник? В заботах о вас провожу все дни и ночи.

— Неблагодарные, вот и все, — махнул рукою Мурман.

— Недавно я посетил одного астронома, — продолжал Темур. — Бедняга был не в своем уме, часами сидел на крыше, любовался восходом и заходом, наблюдал луну, считал звезды...

— Вы спустили его на землю? — спросил следователь.

— Разумеется! — улыбнулся Темур, развязывая мешок. Из мешка, одетый пестро, словно цирковой клоун, выскочил какой-то человечек, который немедленно поклонился Темуру и поцеловал ему руку.

— Объявите суду, кто вы такой? — распорядился Темур.

— Кахабер Коргонашвили, — представился человечек.

— Ну-ка, Кахабер, — обратился к нему Темур, — расскажи нам, как ты живешь, что поделываешь, не испытываешь ли каких затруднений?

— Никаких затруднений! — пропищал человек. — Чувствую себя превосходно! С тех пор, как бросил считать звезды, я стал настоящим мужчиной и наладил, наконец, свою жизнь.

— В общем, ты на нас не в обиде? — поинтересовался Мурман.

— Напротив, я вам безгранично благодарен за то, что вы помогли мне взяться за ум и наставили на правильный путь.

— Ты не обманул наших надежд, — погладил его по голове Темур. — А теперь покажи нам, на что ты способен.

Кахабер сделал сальто и проциелся на руках. Мурман поднял обруч. Человек разбежался и прыгнул сквозь него. Хатуна бросила ему тарелку; Кахабер поймал ее на кончик носа, завертел и остановил на лбу. Ему сунули в руки бутылки. Человек принялся ими жонглировать. От рукоплесканий в зале едва не обрушился потолок.

— Молодчина, ты славный малый! — Темур обнял его и сунул ему в рот кусочек сахара.

Кахабера посадили обратно в мешок, крепко завязав отверстие.

— Какая мерзость! — произнес я и схватил мешок. Прежде, чем мои жильцы успели опомниться, я вышвырнул его в окно.

— Поделом изменнику! — закричали в зале, и раздались аплодисменты, на сей раз адресованные мне...

Стрелка весов колебалась. Победа склонялась то к постояльцам, то ко мне. Зал был пронизан запахом пота. Воздух, словно жидкое стекло, загустел, свернувшись, преломляя и без того кривые лица. Волосы и бороды судей водорослями повисли на стенах. Богиня Возмездия скрылась под паутиной. Я отчетливо видел перед собою окаменевшие лица; стоило обернуться — и мне резала глаза переливавшаяся кричащими красками волна народа. Поддержки не было ниоткуда. Свои рукоплескали мне и забавлялись зрелищем. А врагов становилось все больше. Уже не уместаясь на галерке,

они по веревкам спускались за кулисы, расстреливая меня ядовитыми репликами.

И все-таки я не был сломлен. Чем более свирепствовал враг, тем быстрее забывал я о страхе. А главное в таком сражении — это справиться с собою и прогнать от себя страх. В тот самый миг, когда я сумел преодолеть этот барьер, во мне заговорил голос далекого предка. Я решил добиться справедливости и напал на постояльцев с другого фланга. Я припомнил прошлое и изобличил их в алчности и злодеяниях. Своим пылким красноречием и горячей искренностью я окончательно покорил зал. Народ принялся воздавать мне хвалу и всюду возвеличивать мое имя. С галерки меня обжигали взгляды, исполненные бессильной ненависти. Пойманный на лжи Темур уже собрался было удирать, не зная более, что сказать в свое оправдание, как вдруг судья позвонил в колокольчик, и на поле битвы воцарилась тишина.

— Теперь все ясно, — пробурчал судья, взглянув на следователя. — Суд посовещался и пришел к следующему заключению: отдать три четверти спорной квартиры, то есть три комнаты, бездомным постояльцам, а балкон и левую половину прихожей оставить прежнему владельцу.

— Господин Амилахвари получил от них деньги, — подсказали мне из оркестровой ямы.

Я бросился на судью, но мне скрутили руки, и я оказался в плотном кольце врагов и друзей. Ревущая волна людей, подобно морскому приливу, устремилась ко мне, снесла перегородку и усмирила меня. Испытывая сильное головокружение от боли, я не слышал, что мне кричат, не понимал, за что меня целуют. Постепенно к окружившему меня тысяченогому, тысячеглавому чудовищу вернулся голос. Сначала из общего гула выделялись лишь отдельные звуки, а затем атмосферу зала метеором рассекла отчетливая фраза:

— Поздравляем, твое выступление было просто блестящим! В такой неравной борьбе сохранить за собою балкон — это и в самом деле невиданный подвиг!

Вновь закружила меня восторженная волна, играя мною, словно мячом, и наконец, прибила меня к покрытому сукном столу, за которым Темур пировал с судьей и присяжными заседателями.

— Да здравствует вновь прибывший! — воскликнул судья. — Да здравствует его щедрость и великодушие!

Я схватил судью и спустил с лестницы. Затем, выхватив меч у богини Возмездия, я выбежал вон. «Опомнись! Силой с ними ничего не добьешься!» — неслись вдогонку чьи-то непрошенные советы. А улица шаг за шагом сворачивалась, мчалась мне навстречу... Вечернее небо отливало зеленью — цветом лавиной сорвавшегося гнева. Лик солнца побагровел от прихлынувшей крови, вечер рассыпался на черные крошки, и бледная луна ввела за собою с востока ночной сумрак.

Занесенный меч молнией рассекал преследуемую по пятам ночь, зажигая на мгновение звезды, веснушками высыпавшие на небо. Лунный свет легко лепил застывшую реку, обрушившуюся в волны церковь и крепость, восседавшую на черной ночи. Страх не было. Жалости тоже. Только холодная ярость и четко обозначенная цель. Я должен был как-нибудь разорвать путы этой идиотской истории, кем-то мне навязанной, должен был достойно ответить и найти единственный, точно найденный и уверенно проложенный предками путь к спасению.

Я единым духом взбежал по родной и знакомой до боли лестнице. Во мне словно распрямилась какая-то пружина, и освобожденная сила метнула меня вверх, к моей двери, у которой стоял облаченный в доспехи Мурман и острием кинжала соскабливал мое имя и фамилию. Отшвырнув его прочь одним ударом, я ворвался в отобранные у меня комнаты. От молельни постояльцев я не оставил камня на камне; выкорчевал огород, разбил радиоприемник на мелкие кусочки, а узлы с одеждой выбросил во двор. Мурман со свистом съежился, как лопнувший пузырь, и из его безголового туловища поднялось облако дыма. Этот черный дым, извиваясь, как дракон, обволок меня и, прежде, чем я успел взмахнуть мечом, едва не задушил. Но победа все-таки осталась за мною, я отворил окно и предоставил ветру распорядиться множеством крошечных змеек, оставшихся от дракона. Только хвост ускользнул от меня, заметался по комнате и наконец влетел в рот спящему старику. Старик раздулся, приготовился к бою. «Моя тебе не искоренить!» — заревел он, огромный,

как дэв, и впился в меня когтями. Он оказался невообразимо сильным и вдобавок так глубоко пустил корни в мою «жилую площадь», что я не мог сдвинуть его с места. Тогда я сбегал за топором, выдернул в конце концов постояльца вместе с паркетом и вышвырнул в окно. Тем временем вернулся и Темур. На вороном скакуне ворвался он в прихожую, поднял коня на дыбы и схватился за меч. Я вонзил свой в бок вороному. Конь замертво рухнул на ковер, и из его лопнувшего, словно гранат, брюха посыпались воины в доспехах. Поразительно! Я разрубал пополам одного — из него тут же появлялся другой! У Темура вместо одной отрубленной головы выросло три, на месте каждой руки — сотня. Враг, казалось, черпал силы в еще оставшемся во мне страхе, мое отступление рождало все новых вражеских воинов, облаченных в доспехи. И тогда я понял, что вместе со страхом я должен преодолеть и нерешительность, что без непоколебимой веры я не смогу победить чудовище, что я представляю собою нечто большее, чем просто великий гнев, ибо я защищаю собственное жилище, собственную душу и тело. Эта догадка молнией сверкнула в моем мозгу, я собрался с духом и бросился вперед, на несметные полчища врагов. Поле боя огласилось воплями боли, которые издавали изрубленные моим мечом тени. Ряды врагов разом поределли, обратились в струйки дыма, развеялись, как сон, и, рассыпавшись, забились в щели. Быстро уменьшившийся Темур кинулся бежать, юркнул в дверь, скатился по лестнице, выскочил на улицу и, завертевшись волчком, растаял в темноте.

Когда взошло солнце, квартира была пуста. На стене понемногу бледнела тень; на столе догорала свеча. Забравшись внутрь лучик тонким орнаментом украшал страницы «Жития Грузии». Я смел в угол разодранные рубашки и иссеченные шлемы и задернул над обрывками ужасных воспоминаний занавес забвения. Затем вернулся к столу, взял в руки книгу, перевернул страницу и самозабвенно погрузился в слова, озаренные тихим ореолом надежды.

Безымянный знакомый

საქართველო
ლიტერატურა

Однажды на улице мне встретился прохожий, чье лицо показалось мне знакомым. Бывают же такие люди, увидев которых, ужасно хочется с ними поздороваться. Так и в тот день: я был так заморожен его приятным лицом, на котором матерчатыми пуговками сидели мягкие, бархатистые глаза, что у меня возникло желание подойти и поздороваться. Я совершенно точно уже где-то видел его. Впрочем, не знаю, явилось ли это ощущение следствием злой шутки, которую сыграла со мной память, или виной всему было обаяние его кукольной красоты. Где-то в глубинах прошлого, где царил свет и простор, стоял этот красиво одетый мужчина и терпеливо ждал, когда же я, наконец, вспомню, выловлю его позабытое имя.

Быть может, это кто-нибудь из друзей детства?

Или какой-нибудь любопытный сосед, чей неотступный и неуловимый взгляд я постоянно чувствовал на себе?

Или какой-то совсем уж дальний родственник, из тех, что объявляются только на похоронах?

А может быть, это просто-напросто мой коллега, один из множества безликих и неприметных сотрудников, которые, словно муравьи, суетятся в стенах нашего института?

Короче говоря, кем бы ни оказался этот, держащийся с достоинством, со вкусом одетый мужчина, было ясно, что он невидимыми нитями связан с моим прошлым и что я должен с ним поздороваться; тем более, что он настойчиво смотрел на меня, по-видимому, догадываясь об охвативших меня сомнениях на его счет. Должно быть, догадался он и о том, что я вообще человек слабый, нерешительный и раздираемый сомнениями. Видимо, он даже пожалел меня, потому что улыбнулся, шагнул навстречу и пожал мне руку.

— Ну, как ты? Куда пропал? — таким свободным и свойским тоном спросил он, словно был моим ближайшим другом.

Да так, живу помаленьку, — с той же дружеской простотой отвечал я. — Работа, семья...

— Ты все там же? — не поняв, о чем он меня спрашивает, я ограничился многозначительным утвердительным кивком.

Незнакомец умолк. Я почувствовал в нем какую-то сдержанность. Он словно перегорел от разговора, взор его погас, однако эта передышка оказалась намеренной, ибо он уже исчерпал общие вопросы и теперь ожидал вопроса от меня.

— А сами-то вы как? — прервал я паузу.

— Ничего.

— Защитились?

— Сдал уже.

Тут он улыбнулся, как бы давая мне понять — дескать, и сам знаю, что все это чепуха, но никуда не денешься: надо. От этого интимного, безмолвного и явного признания я еще больше осмелел, хотя незнание его имени ужасно меня сковывало, вынуждая подбирать такие фразы, которые были бы одновременно и общими, и тепло-дружескими.

— А как жена, дети?

Вместо ответа незнакомец сочувственно улыбнулся. Я понял, что сморозил что-то не то и разом потерял нить беседы.

— Погода нынче неважная, — перевел он разговор, стремясь вывести меня из неловкого положения, но от такой поддержки я совсем растерялся и окончательно потерял интерес к общению.

— Да-а-а...

— Ребят встречаешь? — последовал новый удар.

По правде говоря, я представления не имел, о каких ребятах идет речь; в памяти по очереди всплывали бледные тени одноклассников и еще более расплывчатые — друзей детства, но ни один из них не привлек моего внимания... А между тем, у него было такое знакомое лицо, будто я расстался с ним минуту назад. Лицо это имело какое-то отношение к светлому пространству так же, как и эта вымученная улыбка, любезные манеры, модная сорочка, перекинутая через руку куртка...

— Кого тут встретишь, все разъехались кто куда...

— Верно, верно, — слабо закивал он. — Куда летом собираешься?

— Не решил пока.

— Все стало проблемой, — с фальшивым огорчением вздохнул он и вдруг опять замер с потухшим взором, будто перегоревшая электронная кукуруза, однако на этот раз быстро пришел в себя и улыбнулся.

— Выпиваешь?

— Какое там — сердце, почки...

— Куришь?

— Так, немножко.

— Дай закурить, если есть...

Он взял у меня сигарету, прикурил, но не затянулся, а лишь пустил дым и продолжал:

— Надо следить за собой, пить мало, есть тоже, тогда и жизнь у тебя наладится. Однако я хорош — тебя учу уму-разуму, а сам вчера надрался так, что не помню, где был и у кого ночевал.

И принялся рассказывать, как он надрался, где был и у кого ночевал. Меня прошиб холодный пот, я был в бешенстве: покорно слушая его, я сгорал от желания вцепиться ему в горло, и при этом в душе я смеялся над самим собой, над этим бессмысленным, идиотским положением, когда мечтаешь убежать — и не двигаешься с места.

— Позвони как-нибудь.

— Надо бы посидеть за столом.

— Да я занят все время.

— Жизнь труднее стала.

— А чего бы ты хотел?

— Ничего не поделаешь.

— Не пропадай.

— Привет вашим.

Мы оживленно перебрасывались подобными репликами, когда вдруг из магазина тканей на улицу высыпали продавщицы. При виде их мой знакомец побледнел. Забыв об учтивости и требованиях этикета, он прервал беседу и покинул меня такой легкой, воздушной походкой, что, казалось, на улице танцует пустой костюм.

— Держи его! — завопили преследователи, преграждая беглецу путь.

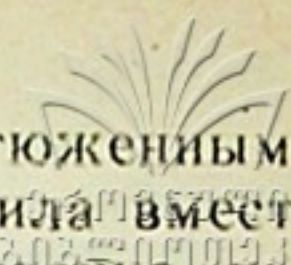
Не успел я опомниться, как человечка схватили, с бранью и угрозами заставили его вернуться, огромный товаровед дал ему пинка и втолкнул в магазин.

Господи, где же я видел этого человека? Где? Разозлившись теперь на собственную забывчивость, я принялся рыться в воспоминаниях. Как бы ни старался, ни забыть, ни вспомнить! Его мягкая, вымученная улыбка не оставляла меня, раздражая все больше и больше: где же я видел ее, где? — вопрошал я себя, слепя прохаживаясь перед магазином по тротуару, где вовек сновал народ, когда просторная и светлая витрина привлекла мое внимание. Я пригляделся — и от неожиданности окаменел на месте! Передо мной, в рекламной витрине готовой одежды, среди манекенов, изящно одетый, с приглаженными волосами, склонившись в любезном поклоне, с курткой, переброшенной через руку, с приятной улыбкой, застывшей на лице, стоял мой безымянный знакомый!

Перевод Александра ЗЛАТКИНА

Сад

День клонился к вечеру, и сад загрустил. Солнце ушло вниз. Ажурное плетение листьев разорвалось от беспрерывно льющих дождей. Дождь шел не спеша. Он почти не проникал в черный ельник, где сидел человек. Печаль, охватившая сад, передалась и ему. Человек хотел слиться воедино с природой, дабы стать вечным. А сад, сад не обращал на него внимания, давая почувствовать, что для его красоты и покоя все равно, существовал или нет человек. Человека же как раз и привлекало это безразличие. Где-то в зеленой темноте хрустнула ветка, но и этот голос принадлежал саду, его безмолвию. Чуть тряхнула головой акация, словно отогнала от себя муху, и воцарилась тишина. Человек закрыл глаза. От мраморной лестницы оторвалась статуя и медленно скатилась к его ногам. Это была неоконченная скульптура женщины. Чья-то рука лишь наполовину ее высекла и забросила. Именно этим она и привлекала. Незавершенность статуи была знаком того, чего в ней не было и никогда не могло быть. Законченность очертаний, слияние их уничтожили бы эту притягательную глубину, небытие, сожаление. Человек открыл глаза. За оградой сада быстро двигался



автомобиль. Прошла мимо женщина с отутюженными волосами, в меховой шубке, прошла и оставила вместо себя сиреневое видение сумерек. Из этого видения, как из разбитой бутылки, вытек чернильный мрак и разлился в пространстве. Женщина принесла вечер. Зажгли фары автомобиля, дождь усиливался вместе с темнотой. Человек встал, отвлекся от своих мыслей и вернулся к улице. Ряд примкнувших друг к дружке домов возник на черной, зеркально промытой дождем дороге. Мчавшиеся мимо автомобили оставляли за собой полосы света. Было нечто похожее на сновидение в этой бесконечной круговерти. А сад стоял себе, утопая в глубине прожитого дня, и тихо отдавался во власть осеннего преображения.

Ничего

Зеленая, волнами вздымающаяся земля... Бирюзовая бесконечность полна безмолвия... Внизу, в ложбине, спит город. Ветер доносит его горячее дыхание. Город не уместается в котловине, карабкается наверх, пытаясь поглотить зеленую тишину. Его послы — белые бетонные дачи, лазутчиками возникли на краю леса. Поэтому поле повернуло вспять, но бежать некуда — и оно сливается с небом. Все залито светом. Этот свет проливается и в душу, соединяя друг с другом мысли и покой внешнего мира. Я уже на вершине. В преисподней город пробуждается ревом тысяч машин. Над ним грибом встает бензиновый смог. А здесь все иначе. В ожидании дождя небо обморочно побледнело. Бледные, спокойные краски придают окрестности мягкость. Внезапно над землей вознесся храм, и проселочная дорога побежала вниз, к деревне...

Я прошел лесом и вновь остался один под открытым небом. Облака поредели и вокруг сгустились сумерки. Слепящая глаза зелень смягчилась, но глубины своей не утратила. Пустоту восполнила деревенская графика. На скелете развалившегося дома повисли капли дождя. Их причудливая игра внезапно образовала силуэт, у которого четко обозначилось лицо.

— Закурить не найдется? — протянул мне руку старик.

В знак отрицания я покачал головой. Потом показал ему на гору, с которой спустился.

— На верблюда похожа, правда?

— Это Удзо¹, — улыбнулся старик и пошел своей дорогой.

И хотя день погас так же тихо и незаметно, как начался, я все же доволен тем, что ничего не произошло. Потому что это «ничего» так полно дум, безмолвия и спокойствия, что оно уже не нуждается в приключениях.

¹ Удзо — гора в окрестностях Тбилиси.

Перевод Эки ГВЕРДЦИТЕЛИ



Осенний дождь

Осенний дождь Господь дарует нам
Не как ненастье.

Он просто предлагает вам
Возможность оценить приют,
Как маленькое счастье.

Цветок жасмина

Цветок жасмина мне говорит о том,
Что прожил я, от Рождества считая,
Еще пять месяцев,
Спасибо Господу на том.

Ноктюрн

Очарование весны с осенним бархатом не спутать,
Как дождь слепой несет с собой мечты,
Так осень дарит нам раздумия и скуку.
В альбом мы так же вклеиваем фото, как проживаем
год,

Забыв, что время не течет наоборот,
Забыв, что время не закроешь впрок,
Как на зиму компот из вишни.
И рисковать, совсем не то, что нарушать зарок,
А жить, как завещал Всевышний.

Натюрморт

В лесу багряно-желто-красном
Острее понимаешь цвета красоту,
Жемчужный паутины блеск
В закате огненном и ясном,
А в лужах черных — бриллианта чистоту.
Начало ноября — хрустальная погода,
Дожди плаксивые начнутся в свой черед,
Давайте впитывать любое время года,
И жить любя, не забегая наперед.



Грузия. Тифлис.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГРУЗИИ, ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮРО ПО ЛИКВИДАЦИИ СОЦ. ДЕМ. РАБ. ПАРТИИ ГРУЗИИ, АРЧИЛУ РУХАДЗЕ, САНДРО ПАРНИЕВУ И ДР.

Уважаемые граждане Арчил, Сандро и др. Вы предлагаете нам, находящимся в тюрьмах и плену, присоединиться к вам, во всяком случае откликнуться так или иначе на ваши действия. Считаю нужным отозваться на ваше предложение и сообщить вам свою личную точку зрения и мнение, повторяю, личное, ибо я в настоящее время заключен в одиночный «политизолятор» в г. Ярославле (а что такое «политизолятор» в коровниках, с этим вас может познакомить журналист из «За-

Публикуемое письмо написано в 1923 году узником камеры № 148 Ярославской тюрьмы, видным деятелем грузинской социал-демократической партии, бывшим заместителем председателя правительства и военным министром Грузинской Демократической республики Григолом Лордкипанидзе. Большая часть жизни этого человека прошла в тюрьмах и ссылках — с самой ранней юности. Он подвергался арестам и репрессиям со стороны как царского правительства, так и советского, но никогда ни на йоту не отступал от своей идеи — борьбы за демократию и свободу.

После падения Грузинской Демократической республики и установления в Грузии Советской власти, члены правительства Ноэ Жордания эмигрировали за границу. Григол Лордкипанидзе, поверив словам Орджоникидзе, что в советской Грузии его не будут преследовать и он сможет спокойно жить и работать, уехал в деревню, к родным. Однако три месяца спустя его арестовали и заключили в Кутаисскую тюрьму, потом перевезли в Метехскую

ри Востока» А. Камский. Вы его, кажется, знаете). Прежде всего должен сказать, что неправильно считать, что всякая перемена мнений, взглядов есть злостное ренегатство и прочее. Честно, не за страх, а за совесть переменить миросозерцание — это вовсе не порок. Но нормальный и честный путь в таких случаях таков: член политической партии думает, что надо решительно пересмотреть программу и тактику, и начинает бороться за это дело в рамках своей партии, большинство которой либо соглашается с новатором, и тогда происходит радикальная эволюция партии, либо же отвергает реформы, и тогда реформаторы приобретают право на взрыв, на революцию и пр. Судя по тому материалу, которым я располагаю, в вашем случае в ходе антипартийного бунта реформаторы совершенно не считались с этими элементарными морально-политическими правилами. Не только партийные реформы и революции не происходят такими методами, как ваши, но даже и ликвидации партии не делаются так. Вы, наверное, помните, когда так называемые «ликвидаторы» ликвидировали нашу партию, но эту работу они производили не в контакте с теми органами власти, которые были заняты ликвидацией и ликвидаторов и нелiquidаторов; нет, генералы и ротмистры из охраны свое дело вели без ликвидаторской и какой-либо другой фракции, лишь при содействии отдельных малиновских и прочих. Тяжесть

(в Тбилиси). После 17-месячного пребывания в заключении (без суда и следствия!) его в числе пятидесяти трех таких же политзаключенных-грузин увезли в качестве заложников в Москву. Затем — Ярославская тюрьма, Суздальская монастырская тюрьма, где он провел три года (все это тоже без суда и следствия) и умудрился написать философский очерк «Думы о Грузии», в котором разбирает важные вопросы новейшей истории Грузии и, в частности, анализирует причины падения Грузинской Демократической республики. После Суздали было «вольное поселение» в Курске — до 1929 года. В 1928 году ему даже было разрешено приехать в Грузию, повидаться с семьей. Тогдашние секретари ЦК КП(б) Грузинской ССР Михаил Кахиани и Леван Гогоберидзе предложили ему высказать свои впечатления и соображения о политической и экономической ситуации в республике, что он не медлил сделать в письменной форме. Резкая критика существующего положения и политики большевиков в Грузии, содержащаяся в этом документе, была воспринята весьма неодобрительно, о чем говорилось и на пленуме ЦК.

морально - политической ответственности вашей состоит в том, что вы, будучи членами жестоко преследуемой нелегальной организации, не постаравшись законным организационным способом изменить ее тактику, внезапно обрушились на эту свою нелегальную партию, действуя заодно с органами политической репрессии.

Кроме того, тень сомнения на вашу искренность набрасывает то обстоятельство, что вы заделались такими правоверными коммунистами при невероятно жестокой, монопольной власти коммунистической партии; и больше того, в то время, когда спор между марксизмом и большевизмом окончательно решился в пользу первого. Когда другой спор или, вернее, тот же спор, но в меньшем масштабе, так сказать, в грузинско-национальном размере, с той же очевидностью оправдал верность социал-демократического прогноза, да так, что вся, даже грузинская компартия, вся ее так называемая старая гвардия в ужасе прозрела. Со стороны трудно верится, уважаемый Арчил, что именно в тот момент, когда Махарадзе, Мдивани, Кавтарадзе, Цинцадзе, Сванидзе, Квирквелия, Окуджава, Торшелидзе, Цивцивадзе, Тодрия, Каландадзе и т. д., словом, подавляющее большинство грузинских коммунистов «националистически» ослепли (чтобы как раз в тот момент), вы прозрели «коммунистически» и увидели те блага национального освобождения, которыми наделило Грузию Русское Коммунистиче-

21. декабря 1929 года Гр. Лордкипанидзе в связи с 50-летием И. Сталина посылает ему из Курска поздравительную телеграмму. Вот ее текст:

Москва. Кремль. Сталину.

Сегодня Вы триумфатор*. В римских триумфах - участвовал специальный раб, который напоминал великому победителю об его отдельных ошибках и об изменчивости судьбы. При средневековых русских царях критика была представлена в лице юродивых. Рабы римских августов и русских царей пользовались иммунитетом.

Не будучи на запятках триумфаторной августовской колесни-

* Юбилей руководителя Советского Союза И. В. Сталина совпал с рядом больших побед и достижений на арене международной (решительная победа на Д. Востоке в связи с конфликтом на В. К. Ж. Д. и т. д.) и внутренней политики (победа над правой оппозицией и проч.). — Гр. Л.

ское правительство. В особенности же после того, как Грузия не только фактически, но и формально совершенно вычеркнута из советских стран, как понятие национально-государственное. Позволю себе немного подробно остановиться на доказательстве этих положений. Идеологический спор между старым марксизмом (меньшевизмом) и неомарксизмом (большевизмом) на примере Российской революции закончился блестящим оправданием первого.

Может быть, это положение молодому комсомольцу или обывателю покажется даже смешным при виде блестящей Красной Армии с артиллерией, танками, самолетами и пр., при таком важном и упрямом факте, что большевики уже скоро будут праздновать шестую годовщину своей власти, и не без основания готовятся к десятилетнему юбилею, что по личному составу Московское правительство самое старое в Европе, что красные революционные войска — это воплощение благородства в сравнении с денкинскими и прочими белоофицерскими бандами и разбойниками, которые так жестоко перепугали и потрясли уважаемого Мартынова¹ на Украине. Все это, ко-

¹ Чтоб спастись от этих мерзавцев ему пришлось головой вышибить двойные рамы окон и убежать во время разбойничьего нападения на него и его семью. (См. его Укр. впец.).

цы, ни придворным юродивым, я, разумеется, на такой иммунитет не рассчитываю и все-таки позволю себе внести некоторый диссонанс (все равно его никто не услышит) в тот хор словесий, который окружает Вас сегодня, в день Вашего полстолетия. Что касается здоровья, долголетия и проч., то многие из нас искренне их Вам желают, но хочу напомнить, что с Вашим юбилеем совпали два важнейших, вопиюще противоречивых и Вами же созданных исторических факта из области национальной политики: предоставление таджикам прав союзной республики, в то же время окончательная ликвидация остатков автономии Грузии, Армении и Азербайджана и превращение их в единое русское Советское наместничество во главе с Криницким.

Вместе с наилучшими юбилейными приветствиями пожелаю, чтоб Вас и Ваших соратников не окончательно пленили исторические тени древнерусского Кремля и чтоб московскому великодержавию не удалось более драпироваться в пурпурную тогу великой идеи интернационализма.

Григорий Лордкипанидзе».

нечно, факты, да еще весьма важные, но ни в коей мере не говорящие за то, что совокупность всего этого и подобных явлений есть доказательство победы большевизма над меньшевизмом. Большевики победили в том смысле, что расстреливают меньшевиков, что их шестой год держат в ЧК и тюрьмах, но чем такая победа будет дольше длиться, тем яснее и бесспорнее будет становиться поражение большевизма. Спрашивается, в чем же в самом деле был основной тактический спор между большевизмом и меньшевизмом в России в период последней революции (говорю лишь об этом периоде, ибо исход спора по всем тактическим вопросам до 17 года можно ясно проследить по нынешним писаниям даже самого Мартынова, который старается доказать, может быть, это даже и правильно, что большевики молодцы. Они по всем основным вопросам, споря с меньшевиками, усвоили меньшевистскую точку зрения и благодаря своей энергии и прочим достоинствам, выбивали меньшевиков из их организационных позиций. И автор, и, по-видимому, кое-кто еще считает, что этим доказано превосходство большевизма над меньшевизмом, как политической концепции). Основной спор между б-змом и м-змом в 17 году заключался в следующем: м-зм говорил, что Российская революция в своей основе есть антипомещичья, антицарская, демократическая, она производит колоссальный социальный сдвиг в смысле экспроприации земель; в этой рево-

На следующий же день после отправления телеграммы вольное поселение сменилось арестом и этапом в Воронежскую тюрьму. Три месяца заключения там завершились ссылкой в Воронеж на 3 года, которые, однако, растянулись на 7 лет.

В период подготовки конституции 1936 года этот неугомонный человек вместе с другими ссыльными социал-демократами—грузинами составляет и направляет И. Сталину и конституционной комиссии письмо, в котором жестко критикует проводимую правительством национальную политику и обосновывает необходимость ее изменения. Причем, аргументация основных требований письма была настолько весомой, что они были учтены в новой конституции. Но подобные «дерзости» не прощались, и когда в январе 1937 года Григор Лордкипанидзе уже было готовился к отъезду в Грузию, его вызвали в ГПУ Воронежа и сообщили, что, согласно спецпостановлению от 21 декабря 1936 года, он арестован. 14 января 1937 года его вместе с другими грузинскими социал-демократами отправляют в Сибирь на 5 лет. Однако, как

люции сильно влияние и руководство рабочего класса, находящегося под влиянием соц. партии. Во многих государствах Европы развитие капитализма и рабочего класса весьма высокой степени; благодаря всему этому, в обстановке большого мирового кризиса, в связи с войной возможно, Русская революция будучи, так сказать, последней демократической, послужит толчком для социалистических переворотов в более развитых странах. Правда, некоторая возможность этого существует, но отсюда вовсе не вытекает то, что мы должны проповедовать социальную революцию, обнадеженные тем фактом, что за социалистов голосовало чуть ли не 95% всего населения России. Надеясь на европейскую социальную революцию и не координируясь с ней, нельзя проводить на «авось» социализм в отсталой, некультурной, неразвитой крестьянской России. Результаты такого опыта в России окажутся не соблазнительным примером, а лишь пугалом для европейского пролетариата. Мы не должны зарываться вперед, мы не можем перескочить через историю без сильной революционной поддержки европейского пролетариата; если вообще такой перескок хоть в маленькой степени возможен; русская крестьянская синица своими силами не может зажечь моря мирового капитализма. Этим можно лишь разбить свой пролетариат, свои производительные силы и т. д. Такая тактика неудачным опытом на самом неудачном опытном поле только отпугнет рабо-

выяснилось лишь в 1955 году при пересмотре дел репрессированных, в марте—апреле 1937 года его перевезли по распоряжению Берия из Сибири в Грузию. Наконец он попадает на родину, в Тбилиси, но для того лишь, чтобы принять мученическую смерть в бериевских застенках.

Как стало известно из материалов следствия, Берия не удалось сломить этого стойкого человека, несмотря на жесточайшие пытки, которым его подвергали в течение четырех с лишним месяцев, не удалось вырвать у него подпись под сфабрикованными обвинительными заключениями. Гр. Лордкипанидзе не мог оклеветать и предать самого себя тем более, что таким образом он обрек бы на гибель свою семью, которая была бы немедленно уничтожена. И наконец, 2 сентября 1937 года прервалась эта жизнь, полная борьбы со злом и несправедливостью. Гр. Лордкипанидзе было тогда 54 года.

В 1923 году, когда Григол Лордкипанидзе писал в Ярославской тюрьме свое письмо, советское правительство проводило лик-

чий класс более развитых стран. Недопустимо, чтобы руководящие партии в своей тактике руководствовались, как это делают Ленин и большевики, выражением Наполеона, что «надо ввязаться в бой, а там дальше видно будет, что и как». Стратегия партии, а тем более партии с марксистским мирозерцанием, должна быть строго рассчитана, должна базироваться на анализе соотношения сил, экономике страны и проч. Но если русская действительность строит тактику на этом марксистском анализе, а не на изречениях великих вояк, то можно определенно сказать, что нынешняя русская революция есть и должна быть радикальной, демократической революцией; ей обеспечен абсолютный успех в силу того, что за нее непоколебимо стоят рабочие и крестьяне, она как великая революция идет восходяще от Львова к коалиции Керенского, от нее — к чисто социалистическому правительству — эсеровско-большевистского учредительного собрания. Нападение реакции (Корнилов) революция отбивает, и должна отбивать единым фронтом. Силы реакции ничтожны в сравнении с единым фронтом революции. Может быть, реакция предпримет еще неоднократно нападения на революцию и демократию, но гражданская война, вспыхнувшая по инициативе реакции будет ее могилой при условии единого революционного фронта, который наголову разбил Корнилова, несмотря на то, что часть самого коалиционного правительства сочувствовала ему. Тем более бесплод-

видацию социал-демократической партии Грузии. Было создано Центральное бюро по ликвидации грузинских социал-демократов. Арчил Рухадзе и Сандро Парниев, адресаты письма, в недавнем прошлом — соратники Григола Лордкипанидзе по партии, стали членами этого бюро и старались правдами и неправдами оправдать политику большевиков. Григол Лордкипанидзе доказывает полную беспочвенность политики большевиков в Грузии и считает, что создавшееся здесь положение есть результат все той же великодержавной политики, исторической политики Российской империи, прикрывающейся в новых условиях революционной фразеологией. Его письмо является важным документом для выяснения создавшейся в Грузии политической ситуации в первые годы советской власти. Читая сегодня это письмо, поражаешься провидческому дару Григола Лордкипанидзе, сумевшему с такой четкостью разглядеть из тюремных камер историческую перспективу, поражаешься его пророчествам о перерождении советской власти в диктатуру, о путях международного рабочего движения, о

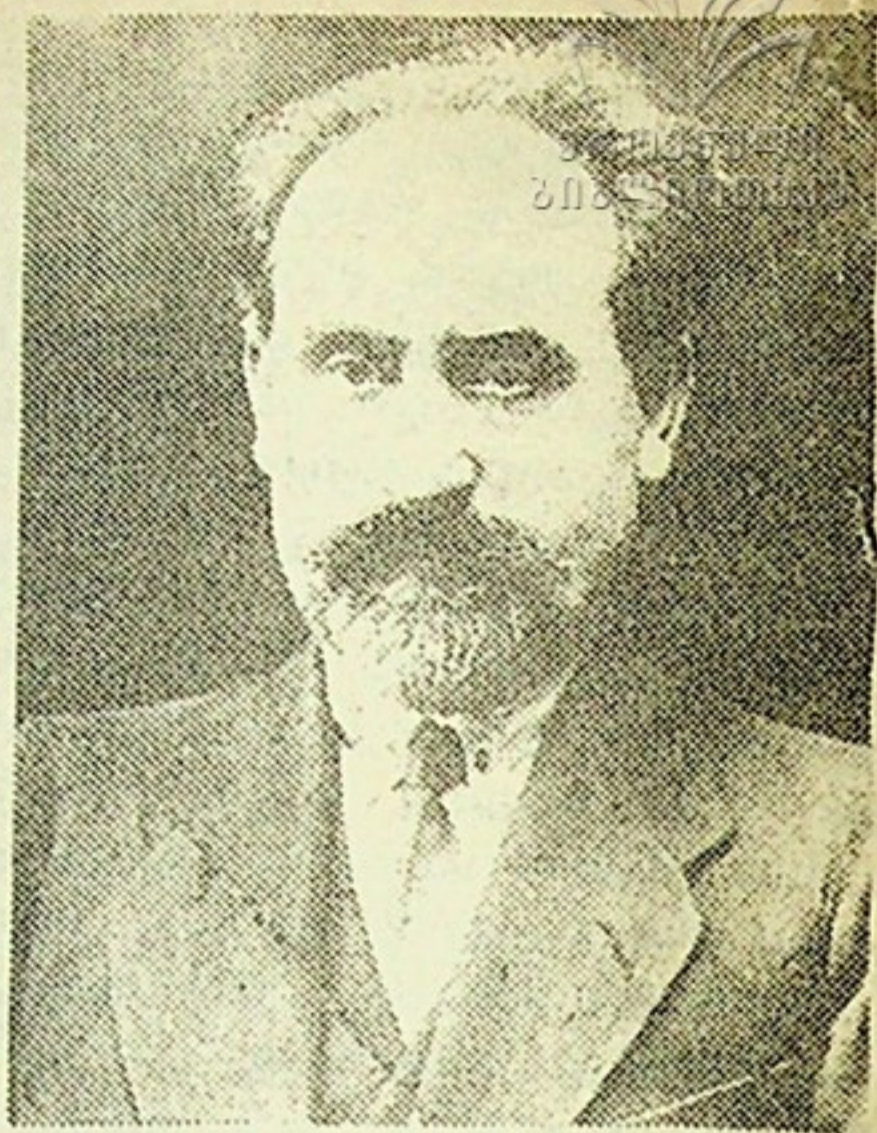
пы и неопасны будут для революции нападения на правительство того учредительного собрания, которое состоит почти исключительно из эсеров и большевиков. Российская революция должна провести радикальнейший политический и аграрный переворот, провести радикальные социальные реформы: она укрепитя на своих революционных позициях и в преддверии возможных социальных переворотов в Европе, но лишь начав осаду капитализма, а не преждевременным его штурмом, в противном случае мы, несомненно, потеряем контакт с важнейшими мировыми рабочими силами и окончательно расшибем российский пролетариат, поскольку тактика немедленного штурма капитализма в России чревата опасностями не только для социалистической, но и демократической революции. Такая тактика усилит политическую реакцию. Она может изолировать российский рабочий класс настолько, что в гражданской войне он потерпит поражение и откроет путь правой реакции, либже же изолированная от большинства населения власть, носительница этой тактики, сама должна стать на путь политической реакции, постепенно сокращая свою активную базу, фатально идя от диктатуры класса к диктатуре партии, а потом группы и т. д. Вот в основных чертах то, что говорил, предлагал и предсказывал меньшевизм в 17 году, выдвигая свою положительную программу и возражая против большевизма, у которого, в сущности говоря, в период революции не было последовательной

результатах политики царизма и его наследников после Октября и о многом другом.

Чудом сохранившееся письмо это в конце концов оказалось в руках его сына, Теймураза Лордкипанидзе, который и предложил его нашей редакции. Никто не знает, кем и каким образом оно было перепечатано. На первой странице машинописи есть пометка, сделанная автором от руки по-грузински: «Во многих местах имеются ошибки, допущенные при переписке (т. е. — перепечатке — К. К.), которые искажают смысл. Г. Л.» Видимо, исправлять эти ошибки у узника не было возможности. Редакция бережно отнеслась к тексту письма, лишь проясняя в ряде случаев темные места текста, которые, очевидно, и имел в виду автор, и, избегая радикального вмешательства в авторский стиль, ограничилась лишь самыми необходимыми незначительными правками.

Камилла КОРИНТЭЛИ


оценки российской революции и единой программы действия. В начале он (т. е. большевизм) революцию считал в своей основе демократической, но с условием, что для ее успеха необходима власть Советов, чтобы обеспечить созыв всенародного учредительного собрания и заключение всеобщего мира (ни в коем случае не сепаратного или «похабного»). Да и октябрьский переворот производился прежде всего во имя «учредилки» и «демократии». А когда «учредилка» собралась не реакционная, а почти чистоганом эсеро-большевистская с преобладанием пер-



Григол Лоркипанидзе

вых, то ее уже разогнать во имя демократии никак нельзя было. Ее нужно было и можно было предать закланию во имя немедленной социалистической революции, предварительно целиком экспроприровав аграрную реформу у главной партии учредительного собрания. В этот период у большевизма окончательно сформировалась тактика немедленного штурма основ капитализма. По его мнению, русский народ уже прошел школу демократии за период от 28 февраля до 25 октября 1917 года. Он уже перерос демократию, он должен и может ввести социализм в виду того, что социалистические революции абсолютно неизбежны в Европе, если не в ближайшие месяцы, то самое большее в ближайший год, или наихудшее, в следующем; если это не случится, то мы, конечно, погибнем (слова Ленина). Произошедшие на почве военного поражения революции в Центральной Европе не пошли далее демократии. Тогда большевизм, окончательно оторвавшись от марксизма, и вырабатывает новую идеологию, которая утверждает, что и без Европейской социалистической революции можно успешно проводить социализм в России, и именно потому, что она наименее развита капиталистически и

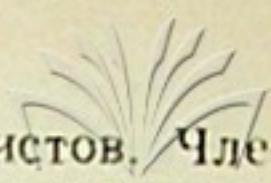
что она страна с наиболее слабым классом капиталистов; исходя из этой предпосылки, на всех парах производится уничтожение денежно-товарного хозяйства, т. е. с корнем и решительно вырывается капитализм и устанавливается социалистическое хозяйство с производством не товаров и продуктов, не с товарно-денежным оборотом, а продуктообменом, социалистическим обеспечением всего общества и т. д. Крестьянская собственническая Россия терпела, правда с большими болями и гримасами, этот колоссальный эксперимент большевизма, пока и поскольку он являлся инициатором антифеодальной революции, но как только непосредственная помещичья опасность миновала, как только крымская врангелевская банда пропела свою «лебединую песню», русский мужик напомнил о марксизме большевикам через Кронштадт, Тамбов и проч., приняв революционный захват земли и основательное выкорчевывание помещиков, но решительно отказавшись от всякой «коммуны», т. е. социалистической революции. Основной спор марксизма и ленинизма совершенно ясно и определенно разрешился весной 1921 года, и приговор над ленинизмом произнес не кто иной, как сам Ленин. Сам Ленин, который приблизительно в следующих словах сформулировал этот приговор: «Наш расчет на социалистическую революцию в Европе не оправдался: темп ее развития оказался более медленным, чем нам казалось. Мы начали штурмовать Порт-Артур капитализма и потерпели сильный урон; нам этот штурм стоит невероятно много жертв: у нас в сущности не стало пролетариата, ибо почти нет промышленности; надо от тактики штурма перейти к осаде, надо бросить старую тактику военного коммунизма и перейти к «нэпу»; вы говорите, что это меньшевистская экономическая политика, это верно, но меньшевиков именно теперь будем держать под стражей и в тюрьмах; мы будем себя критиковать и отступать на меньшевистские позиции, но их за ту же критику во время этого отступления будем расстреливать» (См. отчеты X съезда компартии и письма и выступления этого периода). Таким образом, в настоящее время я не знаю, спорят ли еще где-нибудь о том, чье понимание Российской революции оказалось правильным, большевистское или меньшевистское. Ведь восторг самого Мартынова и его коммунистическое прозрение базируется на этом самом великом отступлении большевиков от большевизма, от социалистической революции на позиции товарно-денежно-собственнического строя. Это их отступление по основной принципиальной линии весьма и весьма похвально, «лучше поздно, чем никогда». Но од-



ного, по совести говорю, абсолютно не понимаю, каким образом можно из-за этого восторгаться большевизмом и считать это за его принципиальную победу. «Большевики не могли ведь сделать невозможное, а потому и отступили», — говорит Мартынов. И великолепно, честь и слава им за то, что они все-таки сумели отступить, но это вовсе не торжество; честь и слава большевизму, суть которого именно в том и состояла, что хотела сделать невозможное возможным. Большевизм благодаря своей неправильной оценке, зажег русскую революцию, меньшевизм же, возражая против этого, считал ее поспешной, преждевременной, полагая, что из этого получится не великий творческий очаг социалистической революции, а страшный, все уничтожающий российский пожар, который может спалить всю промышленность, пролетариат, революцию. Так зловеще каркали проклятые меньшевики, пусть, если хотите, типун им за это на язык (хотя у них теперь на языке не только типун, но хуже даже рака, замки, каленое железо и проч.). Но ведь это зловещее карканье оправдалось слово в слово, и от безумного штурма капитализма пришлось отступить к осаде. Хорошо, что эти люди до конца не упорствовали в своей великой утопии, что хотя бы на пятом году догадались, что то, что большевизм устроил, есть не зарево всемирной социалистической революции, а всеуничтожающий российский пожар с страшным чадом, и сами же бросились тушить его, спасая от большевизма власть большевиков и кое-какие остатки промышленности и пролетариата. Конечно, было бы и счастливее и приятнее для меньшевиков, если бы они оказались скверными пророками, и большевикам «удалось бы сделать невозможное». Но, к сожалению, этого не случилось, этому страшному краху большевистского опыта и жесточайшему поражению российского пролетариата могут радоваться только действительные враги и предатели рабочего класса или какой-нибудь злостный фракционный критик, но не меньшевизму, конечно, краснеть за свой политический прогноз. Так, повторяю, к сожалению, оправдался жестокий прогноз меньшевизма по основному спорному вопросу с большевизмом. Еще несколько слов о других второстепенных прогнозах, связанных и проистекающих от основного. Меньшевизм считал, что последствием социалистического опыта большевиков будет жесточайшая политическая реакция, уничтожение всяких свобод и т. д., и эта реакция в процессе борьбы придет либо справа, либо сама большевистская власть вынуждена будет ее проводить. Что же мы видим в настоящее время? Всякая свободная самодеятельность унич-

гожена, демократические организации разгромлены. В данное время в России действительно возможна только диктатура, да же не активная диктатура самодеятельного класса, а диктатура кратической группы, вышедшей из этого или другого класса, и еще слава Богу, что русский народ пока имеет диктатуру группы, вышедшей из революции, из рабочих и крестьян. Ведь теперь ни для кого не секрет, что предсказание меньшевизма о неизбежной эволюции сов. власти при большевизме оказалось тоже пророческим. Активная самодеятельная база большевистской власти все время суживается. Кто же теперь будет спорить против того очевидного факта, что в России нет не только диктатуры двух социальных классов — рабочих и крестьян, но вообще нет диктатуры класса. Ведь известно со слов самого Зиновьева, что большевикам весь рабочий класс пришлось завоевывать «вторично» и завоевали они уже не большевизмом, а тем, что отказались от основ большевизма, восстановив в своей основе товарно-капиталистический строй, они этим самым облегчили муки всего русского народа и, в частности рабочего класса. Большевистская диктатура уже давно перешагнула через стадию советской конституции. Эта форма диктатуры уже отошла в прошлое, она относится к концу 17 и 18 годов, более того она уже почти закончила прохождение стадии рамок партийной диктатуры. Советы, их съезды и ЦИКи — лишь пережитки старого и внешнее выражение власти компартии. Ведь ВЦИК, Совнарком — это лишь рабочие органы при политбюро Компартии. То, что недавно считалось за злостную меньшевистскую клевету, теперь уже получило идеологическую форму: ныне считается твердо установленным, что пролетариат отказался от самодеятельности диктатуры и навсегда, а именно — до торжества мирового социализма. Эту свою диктатуру передоверили компартии навсегда, ибо после окончательного утверждения социализма, не будет не только диктатуры, но и самого хозяина этой диктатуры, т. е. пролетариата. А срок этот, если раньше определялся месяцами или годом-другим, то в конце пятого года диктатуры робко было произнесено об одном десятке (не совсем ясно, с зачетом прошедших лет или без зачета). А потом уже смелее заговорили о возможности и необходимости нескольких десятков лет диктатуры, о том, что, быть может, наши внуки и правнуки доживут до момента торжества социализма, а стало быть и до момента ненужности диктатуры компартии. Причем тоже не секрет, что и диктатуру компартии надо понимать тоже немного «духовно», а не буквально (правда, пока не столь «духовно», как

диктатуру пролетариата через советы). Сама компартия, в значительной степени систему диктатуры перенесла в свою среду, и получив от пролетариата по бессрочной и безвозвратной доверенности диктатуру, она ее передоверила на 910 своему центру, центр — сверхцентру (политбюро), а дальше — тройка старых коренных вождей большевизма. Революционная диктатура как мера чрезвычайная может быть только временной — ну месяцы, год, другой, допустим, еще три-четыре года можно ее считать чрезвычайной мерой; но не знаю уже, как ее назвать, когда она длится шесть, семь лет; но она вовсе не диктатура и не чрезвычайная мера, когда будет действовать много десятков лет, когда она, может быть, переживет наших правнуков, когда при ней будут рождаться, расти и умирать поколение за поколениями: это уже, согласитесь, что-то вовсе не пролетарское и революционно-социалистическое. Сообразно с этой новой идеологией начинает формироваться и развиваться сама компартия; в своей проекции она уже консолидируется (не удивляйтесь и не смейтесь) в привилегированное сословие: она уже не партия, ибо как возможна политическая партия, когда в стране политическая жизнь, мысль, работа составляют монополию одной партии. Она уже не партия, ибо она единственная и последняя из политических партий: до социализма другие партии не могут существовать, после социализма вообще не будет партий как политических организаций классов. И если предположить, что наши правнуки дождутся торжества социализма (как это уже не только думают, но и говорят Троцкий, Зиновьев и др., а также и сам Ленин), то из компартии по законам, так сказать, социального естества, должно получиться новое своеобразное дворянство, наподобие того, как из служилого класса Московской Руси выработалось наследственное боярство и дворянство. Эта тенденция уже в сильной степени проявляется в компартии: она уже не зовет массы в свои ряды, наоборот замыкается, отгораживается, самоочищается: это уже не партия, а привилегированная, монополярная правящая группа, она уже от своих членов требует не жертв, а, наоборот, наделяет их правами, привилегиями; такая группа не может не замкнуться, она в своей потенции уже сословие: там стаж партийный уже особенно важное дело. Сейчас партия, как всякое привилегированное сословие, ревниво охраняет свой состав от расширения, ставит максимальные требования, большой кандидатский стаж и проч. Если это дело будет длиться из поколения в поколение, то наверняка можно предсказать, что скоро и кандидатского стажа не будет во-



все. Первое время сократят стаж для детей коммунистов. Члены партии при приеме будут друг друга поддерживать, проводя в ячейку своих детей, потом рожденных при коммунизме, детей 10—12 лет будут посвящать (нечто вроде старого рыцарского посвящения) в партию, куда они потом автоматически без всякого стажа вступят: коммунисты будут просто рождаться от коммунистов, посторонним в компартию доступ вообще будет закрыт, и отдельных выдающихся лиц не из коммунистов будут лишь в чрезвычайном порядке за особые заслуги производить в звание коммуниста. Надеюсь, согласитесь, что это не карикатура, а абсолютно неизбежное (не только по формальной логике, а по своему существу) развитие той тенденции, которая положением вещей заложена в компартии, она будет вырождаться в этом направлении, если диктатура должна длиться десятки лет, и если она будет стойко придерживаться своей идеологии. И должен я вам сказать, что когда большевики все время кричат об опасности перерождения и всемерно думают бороться против нее, то не напоминают ли они человека, который бросился в воду и потом старается вытащить самого себя за волосы; они боятся перерождения и догадываются, как много уже в них переродилось и выродилось, они наподобие мольеровского героя не подозревают, что уже говорят прозой; октябрьский коммунизм уже почти так же похож на нынешний, как христианизм апостола Петра на современный папизм или деяния святых великомучеников на подвиги Тихона Белавина. Может, кому-нибудь кажется, что тот успех, которого достигла русская революция в деле уничтожения остатков феодализма должен быть отнесен на счет именно большевизма как такового; но большевизм-то состоял не в том. Разве спор был из-за этого, разве из-за этого был раскол единый революционно-социалистический фронт, разве для этого было разогнано эсеровско-большевистское учредительное собрание. Ведь не это было сделано во имя немедленного социализма. И если большевизм после четырехлетнего страшнейшего опыта оказался перед разбитым корытом товарно-денежного хозяйства, притом не высшей капиталистической формации, а кустарно-мелкобуржуазного производства, и если заодно с этим русский народ пока всего лишь спасся от помещичьей реставрации, то это не благодаря большевизму, а вопреки ему. Настолько значит могучими были силы российской революции. Ведь не для того был учинен разрыв со всеми буржуазными правительствами мира, аннулированы все долги, отказано в признании

всем капиталистическим правительствам, им всем была объявлена великая всемирная социальная война. Не для того все это было сделано, чтоб на пятом году революции не только признать капиталистические правительства, но признать и долги и просить своего признания. Честно говоря, я не знаю, не скучно ли сейчас доказывать, что страшно дорогой для народа, и в первую голову для пролетариата, большевистский опыт в России потерпел жестокое поражение, что большевистская концепция по основным вопросам оказалась несостоятельной. По-моему, доказывать это так же скучно, как разжевывать самоочевидную аксиому. Не думаю, чтобы кто-нибудь мог в защиту большевизма сослаться на тот факт, что так это или иначе, а большевики все-таки оказались у власти, держатся в настоящее время, что стихия революции так или иначе, а все-таки осталась с ними, что все случившееся непременно должно было именно так произойти, что все случившееся необходимо и, стало быть, разумно. Правда, вожди целых партий и их тактика не могут поворачивать общего хода истории, но разумность или даже абсолютная необходимость явлений еще не доказывается тем, что они произошли, такая точка зрения была бы не только не марксистской, это просто учение о божественном предопределении или магометанский фатализм; это означало бы, что Муссолини и Хартли, Баварская и Финляндская реакция, все это тоже факты, а потому, стало быть, абсолютно неизбежны, необходимы, а посему разумны и правильны. При таком фетишизме фактов, конечно, нечего делать партиям, программам и проч., нельзя говорить о тактике, об ошибках, правильных путях, предательской тактике и проч. Предсказания, опасения меньшевизма оказались правильными. Но было бы преступно доктринерствовать по этому поводу, получать удовлетворение при неудачах другой фракции, а стало быть всего пролетариата, злорадствовать, умыть руки, говоря, что он (меньшевизм) все это предсказал, но, насколько я знаю, в общем и целом Российская социал-демократия и не занимала такой пилатовской позиции, считаясь с тем, что большевистская горькая каша уже заварена и что ее так или иначе нужно расхлебывать... Но об этом оставим разговор, не в этом состоит смысл моего письма к вам. Об отношении грузинской социал-демократии к Октябрьской революции упомяну впоследствии, а сейчас хочу остановиться на другом положении, а именно на том, что наш прогноз по отношению к большевизму в вопросе о Грузии и вообще в вопросах о национальной политике ока-

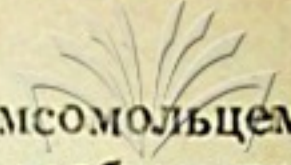
зался, к сожалению, блестяще оправданным. Что говорили большевики, идя на Грузию войной: мы ничуть не покушаемся на национальную государственную независимость, это не война, а лишь интервенция во внутренние дела Грузии с тем, чтобы установить в ней советский строй и быть с ней лишь в международном союзе против капиталистических стран и империалистов. А что же мы вместе с вами, Арчил, Сандро и другие, говорили... Мы утверждали следующее: сменовеховцы — новая буржуазия, русский национализм, что все эти полковники Симритские, Сементковские, наш хорошо знакомый кутаисский Симони (помните кутаисского знаменитого вахмистра, который в 20 году на азербайджанском фронте явился к нам как красный командир, в качестве коммуниста) и проч. заведомо лгут, когда повторяют приведенные выше слова, и коммунисты в лучшем случае жестоко ошибаются, ибо, говорили мы, исторический смысл этой военной русской коммунистической интервенции заключается в восстановлении единой неделимой России, стало быть, в завоевании и аннексии Грузии. И этот наш прогноз называли злостной шовинистической клеветой. Но теперь, конечно, и слепые увидели, где «клевета», где также лицемерие, а где — одураченная наивность. Ведь исторический смысл похода русской Красной Армии на Грузию оказался не в том, чтобы вместо демократии установить советскую конституцию, вместо Жордания во главе Грузинского государства поставить Махарадзе. Ведь та форма, в которой произошли раскрытие и выявление исторического смысла коммунистической интервенции, превзошла самые мрачные ожидания, и настолько огорошила и ошеломила даже самих режиссеров той интервенции — грузинских коммунистов — что они до сих пор не могут опомниться. В какие-нибудь полтора-два года от простой интервенции перейти к формально законченной аннексии, это поистине кинематографическая быстрота для таких дел. Навряд ли многие империалистические правительства могут похвастаться такой быстротой в таких делах. На то они и лицемеры, что без церемонии ничего не делают. Если хотите, я охотно соглашусь, с ними, что в первое время не только грузинские коммунисты, но и большинство русских, в том числе сам Ленин, Троцкий и др. искренне верили и думали именно так. Я согласен, что письма и инструкции Ленина в марте 21 года были не лицемерием, что он действительно желал создать грузинскую Красную Армию, вывести немедленно русские войска, не касаться государственной самостоятельности Гру-

зии и пр. За те несколько недель своей свободы, которые оказались в моем распоряжении при советской власти в Грузии, я встречался по поручению партии со многими грузинами-коммунистами и получил от них твердое впечатление, что они искренне хотят сохранить государственную самостоятельность Грузии, вводя ее в государственно-международный союз с советскими державами, создавая грузинскую Красную Армию и пр. И должен вам сказать, что так думали и говорили, и, по моему, вполне искренне, не только Махарадзе, Кавтарадзе, Сванидзе, но даже Орахелашвили, Элиава и Енукидзе. Я уверен, что в большей или меньшей степени, но все они были тогда искренни, но как и во всех прочих крупных вопросах политики они проявили наивность и утопичность. Недавно Радек где-то говорил, что у того или иного предложения, позиции, мероприятия, действия есть своя внутренняя, так сказать, имманентная логика, по которой они развиваются, независимо от того, верна ли логика авторов и проводников этих предложений и действий. Сказав это, Радек прибавил, что эта мысль принадлежит одному весьма умному соц-демократу Аксельроду. Да, он умен, спора нет, конечно, и Радек достаточно умен, и с ними обоими надо согласиться, и это тем более легко после великого русского большевистского опыта, где внутренняя логика, коммунистические мероприятия, вообще не считались с формальной логикой бухаринской «Азбуки коммунизма», и к великому изумлению многих, пламенная коммунистическая наседка-курица высидела нэповских и сменовеховских утят; под знаменем коммунистической власти родилась новая, антидворянская и крестьянско-коммунистическая Россия. Говорю я это к тому, что в делах Грузии субъективные желания первого периода не осуществились главным образом потому, что историей в основном управляют не Кромвели, Робеспьеры, Наполеоны и Ленины, а делают ее, согласно достигнутой стадии экономического и прочего развития, массы. Никакие Ленины и Троцкие даже при всем желании не в состоянии были провести свои основные обещания по отношению к Грузии... Пора уже твердо знать, что величайшие вожди не способны ни перешагнуть через историю, ни повернуть ее колесо по своему желанию; современная историческая действительность такова — из крепостнической полурабской России через революцию рождается и родилась новая Россия: ее тело — нэп, т. е. крестьянско-буржуазно-товарно-денежное национальное государство. (Из русского народа лишь теперь в горниле революции рождается нация в

современном смысле слова). Ее душа, т. е. движущая идеология — это сменовеховство, которое не терпится московским правительством, а которое само терпит и не может пока что не терпеть данное правительство. Эта идеология совершенно резонно рассуждает, что национальное возрождение России возможно ныне только под эгидой комвласти и при нэпе. И в самом деле, у нынешней России в качестве чисто национально-буржуазной силы не больше, чем например у Китая, под властью буржуазии она сейчас была бы абсолютно неспособна не только к экспансии, собиранию земли русской, но даже и к слабой обороне, а как коммунистическое государство она имеет миллионы защитников во всех странах. Коммунизм в данное время есть спасительный защитный цвет для национально-государственного возрождения России. И надо согласиться, нельзя не согласиться с этой сменовеховской концепцией; да, компартия по своей идеологии, безусловно, самая интернациональная партия в смысле отсутствия зоологического национализма и пр. Но это ей не мешает быть единственной национальной русской партией в данный исторический период; вот почему ее вожди во всем основном не могут не сообразоваться с интересами и уровнем этой нации, когда даже эти интересы и желания расходятся с идеологией вождя. Поставьте вопрос и судьбу Грузии в этой больной исторической перспективе, и вы вместе со мной оправдаете вождей коммунистов (конечно, не как коммунистов). Какова же эта перспектива? Отсталая и слабая Россия во время мировой империалистической войны и потом революции потерпела тяжелый урон. Европейские силы ее отбросили на восток, вернув, примерно, в допетровское московское положение; ослабевшая и пока не способная брать реванш на западе, вместе с тем, — не поддержанная рабочими революциями Запада, она берет курс политики наименьшего сопротивления, двигается на восток, объединяя современными способами бывшую Российскую империю. Между прочим, завоевывает, оккупирует, а потом и аннексирует Грузию. И это событие не результат злой или доброй воли вождя или вождей... Вы, может быть, помните рассказ про барабанщика из Французской революции, он до конца жизни оставался искренне уверен в том, что это он повел на штурм Бастилии революционную толпу, ибо он шел впереди, барабана в свой тамбур. Но мы с вами, конечно, знаем, что он тут ни при чем, ибо не он вел толпу, а она его, хотя он был впереди, а она позади. И, право, вожди коммунистов также мало «вино-

ваты» в занятии Грузии, в этом они сами убедились, должно быть. Одно время они искренне думали, что именно они ведут и вели войска, и что в свое время и выведут, и потому давали соответствующие торжественные и, по-моему, в большинстве случаев искренние обещания и заявления. Пора нам, староверам марксизма, знать, что русская армия исполняет и будет исполнять все те приказы своих вождей, которые касаются устройства армии, тактики, стратегии и т. д. Но основные приказы пишутся невидимой рукой русской истории, хотя и не на бумаге, а по нэповско-сменовехски, т. е. русско-национально-товарно-капиталистически и восточно-агрессивно; и никакие вожди, рев-воен-советы, политбюро не в состоянии внести существенные поправки в эти приказы истории, все они должны держать руки по швам перед нэпом, а посему, повторяю, десять Троцких и Сталиных не в состоянии оплатить векселя, выданные Грузии два года тому назад, хотя в момент подписания они были уверены, что оплатят. Говорю я это к тому, уважаемый Арчил и другие, что безгранично наивным является тот пункт ваших тезисов, где говорится об уверенности, что после формирования грузинской Красной Армии и окончательного укрепления советской власти русская армия будет уведена из Грузии и что это время уже близко и проч. Нет, милейшие, это уже музыка прошлого, разве вы не помните, как С. Орджоникидзе объяснял на вашей тифлисской конференции, что такие маленькие народы, как грузинский, не могут иметь самостоятельного государства, мало того, грузинский народ не может иметь даже некоторого суррогата государственно-национальной организации, ибо он составляет 75% населения той территории, которую принято называть Грузией. Такие малые народы, оказывается, не могут сохранять своего государственного бытия даже тогда, когда вступают в орбиту больших социалистических держав. Вот видите, какая идеология вырабатывается у русской компартии по вопросам национально-международным, как шаг за шагом новое бытие начинает определять новое сознание. По видимому существование всех этих Финляндий, Эстоний, Литвы и прочих подобных, их самостоятельность носит тоже характер временного недоразумения. И если вы думаете, что они останутся в своем недоразуменном положении, что тамашние коммунисты не сумеют наподобие грузинских тайно от московского правительства увлечь несколько красных корпусов и поставить Кремль перед печальным, но совершившимся фактом советизации, если вы это думаете, то жестоко оши-

баетесь. Дело в том, что империалистические прохвосты и всякие их Ллойд-Джорджи не разрешают прибалтийским и прочим коммунистам выкрасть у Л. Троцкого несколько сотен тысяч сных дивизий. А вот насчет Грузии иная создалась «ситуация» под радостным впечатлением того факта, что красный мичман Раскольников со своей красной инфантерией эвакуировался из Персии без остатка. Ллойд-Джорджи и другие такие «закадычные друзья» грузинского меньшевизма «проглядели» движение русской Красной Армии в другом направлении, а именно к берегам Сухума, Поти, Батума. Надо думать, что тут не было договоров, разве допустимо, что о таких империалистических вещах Красин мог заикнуться с таким Ллойд-Джорджем. Что же касается Турции, то ее нечего было опасаться. Старая Турция, то есть Босфор с Дарданеллами была в руках того же Джорджа, а новая Кемалистская — ведь друг и союзник всяких великих революций, в особенности при таких пешкешах, как установление Брестского мира с отдачей пол-Армении и около четверти Грузии. Кстати, в какое нелепое и комичное положение поставил вас Мартынов. Он просто сгоряча, как неофит коммунизма, но в летах, просто для красивого фасона и оборота речи поведал великую тайну о том, что грузинские коммунисты, тайком от Ленина и Троцкого, вообще за спиной Москвы, увлекли русские армии и атаковали Грузию от Сочи до Воронцовки; после почти двухлетних жестоких боев овладели Грузией, советизировали и таким образом поставили Москву перед фактом, с которым поневоле и скрепя сердце пришлось примириться; все это, конечно, Мартынов вам на Кутаисской конференции говорил, наверное, так, между прочим. А вы взяли да и вlepили этаким несерьезный и прямо оскорбительный для Москвы «разговор» в свое обращение к международному пролетариату, о том, как коммунисты соседних с Россией стран крадут (с благородными целями советизации своих стран) у Л. Троцкого по несколько армий и пр. Послушайте, Арчил, вы же люди, так сказать, уже с политическими усами, и разве можно такие безусые вещи писать в ответственных документах или отрицать факт чисто внешнего завоевания Грузии в феврале 1921 г. без всякого намека на восстание, отрицать и туманить этот факт, как это вы стараетесь делать в своем обращении, и все это после того, как несколько месяцев тому назад сам Троцкий совершенно мужественно и откровенно сказал, что Грузия была оккупирована и советизирована Москвой силой, и именно не считаясь с волей грузинских рабо-



чих и крестьян (см. ст. Троцкого «Диалог с комсомольцем о резолюции 12-го съезда»). Никогда не следует вообще пересаливать, стараться сделаться или казаться монархичнее самого монарха, как это приходится делать Мартынову, который уже с левого фланга обходит Осинского, или как вы «взяли в мешок» (как выражались во времена войны) не только «уклонистов», но и «колонизаторов», обойдя всех их слева в области русофильства и пр. Нужно вам сказать, что когда иной меньшевик, ныне борясь с большевиками, обходит их слева со стороны интересов социализма и пр., то мне это в большинстве случаев представляется как демагогия мелко-го пошиба, а когда бывшие меньшевики позируют и хотят казаться левее коммунистов, это очень похоже на сервизм, во всяком случае не импонирует своей искренностью. Вот, например, вы в своих тезисах (№ 50) утверждаете, что лишь враги рабочих клеветают якобы в Грузии грузинский народ хоть в какой-нибудь степени угнетается. Вы даже с цифрами в руках доказываете этот свой тезис. И, Боже мой, Арчил, как это вы зарпортовались, какими вы цифрами начали оперировать. Послушайте, ведь это тоже позорные цифры. Их надо было вам скрыть, а не афишировать. Вы бряцаете тем фактом, что в Грузии в предприятиях и учреждениях все-таки осталось 50% с лишним грузин. Что за державной нацией, которая в общем и целом не отстает от своих национальных меньшинств и которая имеет около 70% населения, остается все же 50% мест. Ну ладно, допустим, что чрезвычайно практическое тяжелое положение соседнего братского армянского народа, более чем наполовину лишившегося родных земель и очагов, оправдывает в данное время тот факт, что составляя в Грузии приблизительно 10% населения, армяне занимают в республике 20% рабочих мест. Но почему и каким образом случилось, что за другим национальным меньшинством, насчитывающим приблизительно всего 3% населения (в большинстве своем колонисты и чиновники), оказалось также 20% мест в республике. Какой маг и чародей способен вывести из этих цифр ваш 50-ый тезис. Далее вы оперируете цифрами и процентами о Тифлисском Исполкоме, при этом упорно забываете, что этот исполком есть орган и Тифлисского уезда с абсолютным большинством грузинского населения, забываете данные самим советом статистические выкладки, которые перед этим давали вы в «Заре Востока» (№ 147 и 148). Те же данные публикует газета «Коммунисти» № 150. И вот эти данные говорят, что и сейчас в

гор. Тифлисе, несмотря на массовое бегство из этого города грузинского населения во время войны 21 года и после, несмотря на вынужденную или невынужденную политику притеснения Грузии, несмотря на то, что из многих десятков тысяч вытесненных из Тифлиса грузин за 22 месяца, вернулось обратно лишь 17 тысяч, несмотря на то, что за это же время по тем же данным тифлисское население механически выросло на целых 41 тысячу прибывших и осевших в Тифлисе негрузин (армян, русских), главным образом за какие-нибудь 22 месяца после советизации; несмотря на все это, грузинское население в Тифлисе и сейчас составляет, правда, слабое, но все-таки большинство, считая даже лиц, как вы говорите, «связанных с Грузией и родившихся в ней». И вот, уважаемый Арчил, совершенно напрасно при написании своих тезисов вы упорно забываете все эти, между прочим, вами разработанные статистические данные. Ну, зачем, зачем же стараться быть большим монархистом, чем сам монарх, достаточно уже идти в ногу с ним. Ведь не только «уклонисты», но 12-ый съезд и сами «колонизаторы» не отрицают некоторого вынужденного национального угнетения грузин. Вы бы могли вполне довольствоваться тем, что они сами говорят, а именно: «да, произошло насильственное занятие Грузии русскими красными войсками, установление и организация советской власти силами по преимуществу негрузинскими, благодаря этому имело место некоторое ущемление Грузии в отношении национальном, это было печальной необходимостью в первое время, но теперь массы подчиняются советской власти и чтут ее, как родную, и этот дефект можно и нужно исправить на основании резолюции 12-го съезда». Вы бы повторили такие заявления самих коммунистов, от такого повторения, если не для грузинской нации, то по крайней мере для нашего достоинства было бы меньше ущерба. Да вообще, разве сам тот факт, что так много приходится говорить и доказывать, что суверенная грузинская нация в своей Грузинской республике не так уж сильно угнетается нац. меньшинством из 3%, разве этот самый факт не вопиет о какой-то невероятно тяжелой аномалии, о какой-то колоссальной фальши между названием и существом дела, разве это не вопиет о том, «что чего-то нет в Датском королевстве», т. е. в национальных отношениях советских государств. Вы отрицаете угнетение Грузии и наличие великодержавной русификации, а руководители самой России говорят, что такой грешок имеется; и заявляют, что дела будут исправляться по-

степенно (конечно постепенно: такие грехи делаются бурной атакой с 4-х фронтов, революционно-молниеносно, а изживаются медленно, эволюционно). А после всего этого вы в своих, более чем искусственно построенных тезисах вдруг настаиваете на том, чтобы резолюция 12-го съезда по национальному вопросу не осталась на бумаге. Так спрашивается, кто же в этих резолюциях нуждается? Грузины в них, оказывается, не нуждаются, а по отношению к некоторым национальным меньшинствам они не только проведены, но давно уже перепроведены. Вообще же на этих резолюциях 12-го съезда, которые кое-кого почему-то приводят в телячий восторг, я позволю себе остановиться немного ниже. Вам говорят, а некоторые из вас и повторяют, что Грузия не была независимой республикой и до завоевания ее русскими. Абсолютно независимого в мире, мы с вами знаем, что ничего и не существует. Но можно ли игнорировать тот незабываемый пока в истории пример непоколебимой фантастической независимости своей воли и действия (независимости, которая некоторым левым и правым оппортунистам кажется крайне доктринерской и губительной), которые проявила и отстояла маленькая Грузия во главе с социалистическим правительством, не располагая еще в мире ни одним родственным по политическим взглядам, дружественным правительством, подозреваемая (конечно, не искренне) русским большевизмом в европейском империализме, а европейским империализмом в русском большевизме; ненавидимая и теснимая и тем и другим лагерем. С одной стороны, русской царской денкинской реакцией и русским большевизмом, с другой — европейской буржуазией, соблазняемая, вовлекаемая каждой из них в свою орбиту и в свой лагерь, эта маленькая Грузия осталась непоколебимой в своей основной политике, выдержала все эти ядовитые ласки, а также бури и натиски со всех сторон, и она, быть может, пока не приобрела за это капитала, но честь социализма и честь нации она бесспорно сохранила. Разве можно отрицать незабываемый факт, что Грузия и ее правительство все основные вопросы своей внутренней и внешней политики проводила современно и независимо, не считаясь с давлением и желаниями могучих внешних сил. Разве можно указать хоть один пример, когда внешние силы продиктовали бы ту или иную политику в какой-либо области, ну, например, аграрной, финансовой, экономической, таможенной, рабочей, торговой, транспортной, военной, иностранной и т. д. Или, может быть, все дело в том, что кому-нибудь кажется, что грузинские чиновники, или тот или


иной член грузинского правительства больше лебезили и уви-
вались около знатных иностранцев, всех этих полковников Гас-
келей, американских сенаторов и проч., чем например, чуть
ли не пленум Московского Совнаркома около графов Мирба-
хов, Ранцоу и того же Гаскеля. Кто-то из вас в доказательст-
во того, что Грузией правила Англия, привел тот факт, что
Грузинское правительство какому-то английскому шпиону (Дзег-
винский мост) смертную казнь заменило тюрьмой; должен вам
по совести сказать, что этого дела я не знаю, но думаю, что
если бы даже за содержание в тюрьме этого шпиона приш-
лось бы платить сотни тысяч золотом (по таксе, безапелляци-
онно из Лондона назначенной), то и тогда этот факт был бы
недостаточным аргументом для доказательства несамостоятель-
ности Грузии. Что же касается германских войск, то кто не
знает, что они именно как союзники были приглашены грузин-
ским народом и помогли ему спастись от полчищ турецких
пашей, которым Грузия и Армения были выданы с головой в
Бресте. Правда, надо знать, что и немецкие войска помогли
бы нам не только из-за наших прекрасных глаз или чистого
человеколюбия. Далее, во всем Закавказье в период Евро-
пейского перемирия стояли английские войска, часть их на-
ходилась на территории Грузии, но кому неизвестно, что эти
войска отчасти хоть и вынужденно, но были допущены с со-
гласия и на определенных условиях самим Грузинским пра-
вительством, которое потом в корне же пресекло попытку
создать в Грузии нечто подобное оккупационному режиму и
вмешаться в той или иной степени в дела внутреннего и внеш-
него управления Республикой. Разве может кто сказать, что
тогда Грузия не была независима и хоть в какой-то степени
управлялась из Лондона или из штаба английских войск, как
ныне из Москвы и из штаба ОКА? Нет, уважаемый Арчил,
разве об этих вещах можно спорить, ведь это не какая-нибудь
теория или метафизика, и даже древняя история, а факты и
история вчерашнего и сегодняшнего дня, факты, которые ви-
дели и знают все, знают, что у демократической Грузии были
те или иные вынужденные отдельные шаги, но она была не-
зависима и суверенна до советизации. Но надо оговориться,
что независимость Грузии можно считать неполной приблизи-
тельно в том смысле, в каком условна независимость всех ма-
лых и даже средних государств, каждое из них в любую ми-
нуту готов слопать более сильный сосед, если бы не боялся
таких же хищников; в этом смысле самостоятельность всех этих
малых государств зависит в значительной степени от сил, вне

их стоящих. То же было и с Грузией, русские армии ^{начали} «освобождать» Грузию от английских империалистов ^{не} тогда, когда их войска стояли в Грузии, и даже не тогда, когда грузинский народ вел отчаянную политическую борьбу (помните всегрузинские антианглийские демонстрации 18 марта 1920 г. и проч.), временами переходящую в военную, за очищение Батумской области от английских войск, нет, не тогда «освобождал» от английских империалистов Грузию русский коммунизм, а лишь тогда, когда Грузия окончательно была освобождена от последнего европейского солдата, когда Грузия окончательно была признана юридически, когда Грузия получила, наконец, возможность свободно вздохнуть и по мере своих сил свободно развернуть творческую деятельность на почве социально-хозяйственной, лишь тогда ее «освободили»! А произошло это оттого, что наиболее сильный конкурент «освободителей» — Англия, довольствуясь Персией, разрешила Москве «освободить» Грузию... Что же касается Турции, как известно, с ней произведено полюбовное сечение Армении и Грузии.

Если когда-то Европа находилась в смертном грехе после раздела Польши, если это считалось грехом смертным даже и для буржуазной Европы, то как думаете, не является ли для коммунистической русской власти самым смертельным грехом раздел Армении и Грузии между Турцией и Россией... Мне думается, что многие из вас, оставшись разочарованными, большие надежды возлагали в своей борьбе за национальное освобождение на всех этих Керзонов, Пуанкаре и проч. И в своей наивности не подозревали, что когда Керзоны выступают «в защиту» угнетенной Грузии и проливают крокодиловы слезы, то они в душе на седьмом небе и от радости потирают руки. Ведь соглашаясь на советизацию Грузии, например, британские империалисты между прочим аргументировали (не публично, конечно) принципы взаимного страхования; советизация Грузии была сильно популярной в европейских рабочих кругах, и введение там режима русской диктатуры должно было быть своеобразным страхованием английской «твердой политики» в колониях, некоторым защитным цветом для экспериментов английской авиации и пр. И в самом деле, когда коммунистическая русская власть за одну ночь, без суда и следствия, может убить в качестве заложников, в порядке террора, 100 и больше человек из двухмиллионного грузинского народа, лишь за то, что действительные бандиты, недавно перед этим бежавшие со службы оккупационной поли-

ции — Манцкава и др., совершали преступления, то будьте уверены, что буржуазные лицемеры и империалисты от этого скорее приходят в восторг (хотя наружно возмущаются). И в самом деле, если считать по пропорции населения, в Индии Керзоны получают этим самым как бы вексель на избиеение в одну ночь не менее 15 тысяч человек, причем они даже могут еще щегольнуть перед миром в сравнении с рабоче-крестьянской коммунистической Россией... А насчет свобод и национальных автономных колоний Англия, конечно, не без основания может блеснуть перед коммунистической Москвой. Ведь до сих пор, по крайней мере формально, советские республики имели независимость и автономию (фактически никакого даже самоуправления), но теперь произошла в сущности полная их аннексия «даже формально»: ведь Грузии и прочим, «добровольно заключившим союз с Россией», сейчас и во сне не видать таких национальных автономий, в советской форме, конечно, как Австралия, Канада, Ирландия, Египет и даже Индия. В особенности это касается Грузии, а также Армении и Азербайджана, ибо они вычеркнуты совершенно даже как союзный государственный элемент. Вот вы, например, в своем 57 тезисе говорите, что грузинский народ должен и будет развиваться на основе свободной государственности и проч., но такое национально-государственное развитие невозможно для Грузии не только в данном фактическом положении, но даже в рамках формально ей предоставленных прав на самоуправление. Более того, разве может быть полным даже национально-культурное развитие народа, из ведения которого изъяты целиком железные дороги, почта, телеграф, море, воздух, недра земли, морское дело, транспорт, порты, военное дело, финансы, торговля и проч.; возможно ли в таких условиях развитие и, более того, развитие национальной культуры?! Разве пьесы на родном языке, а также обучение в школе дают возможность такого развития, когда из жизни этот язык изгоняется, когда в сущности не осталось за Грузией даже школьной автономии, когда средства на школы милостиво отпускает заковпартком, когда даже разрешенные при школах специальные фонды дискредитируются заковнаркомом и т. д. Да, государственное положение Грузии таково, что пора ее школам на родном языке ограничиться изучением теории поэзии, стихосложения, да и то строго дворянского, рыцарско-романтического характера, ибо современная трудовая пролетарская поэзия не может обойтись без языка железа и бетона, без автопоэзии, без радио, пара, электричества, без паровоза, сви-

стков, гудков, трансмиссии, подшипников, шкивов и рычагов... Словом, всего того, что есть позвоночный хребет и главный нерв современной жизни, а все это изъято из национально-коллективной самодеятельности, все это изъято тем самым из области грузинского языка, все это фактически закрыто для грузинского языка... Не без основания С. Орджоникидзе возражал, кажется, что нечего выработать азербайджанскую терминологию, это придет, мол, потом, само собою, понемногу.. И в самом деле, на что нам терминология техническая, научная и пр., что с нею делать?! Составлять, изучать, но не применять в жизни? Нет, по смыслу нынешнего положения вещей, нам пора ограничить свою культурную самодеятельность писанием и игрой пьес на темы «Самшобло» (если только такие сюжеты будут разрешены), стихов с соловьями, луною и черными глазами, с «Сулико» и т. п. Повторяю, разве вам не ясно, что никакого полного национального культурного развития не может получить народ, если он как определенный национальный коллектив (это не так важно в данном случае, демократической, советской или какой-либо другой формы) не имеет возможности государственно жить, работать, творить на своем языке. А ведь у Грузии не осталось уже и намека на какой-либо элемент государственности, она уже не только фактически, но и формально имеет меньше самоуправления даже, чем царские земства. Ее государственность вдвойне уничтожена: во-первых, ее «добровольно» втащили на аркане в единую Закавказскую Республику (которая для маневра названа федерацией). И надо ли доказывать, что такая форма единства трех соседних республик является наиболее неудобной и вредной именно для изживания национальной розни, для национально-культурного развития закавказских народов и проч. Ведь и политические младенцы видят и знают, что это удобно лишь силе, которая советизировала Закавказье; все, что находится за Кавказским хребтом, для Москвы и раньше было «кавказскими человеками». Они прекрасно знают, что Украина, Россия и Белоруссия неизмеримо ближе, органичнее, родственнее друг другу, чем, например, Армения и Азербайджан. Но что же делать, для Москвы все-таки легче и удобнее всех этих «кавказских человеков» загнать в один загон, образуемый Кавказским хребтом, Черным и Каспийским морями, тем более, что такой загон фактически будет русским, управлять им будет легче из единого центра, там единая армия ОКА, единый штаб, единый центр, ко всему этому надо приспособить закавказские народы, им можно оставить название рес-



публик и проч. Потом всю эту Закреспублику со всеми ее грузино-армяно-азербайджанскими потрохами аннексировала Россия. Разве вы думаете, что в мире есть такие наивные люди, которые не видели бы и не понимали не только исторический смысл уже созданного «добровольного и равноправного Союза С.С.Р.»? Кто же не видит, что русское правительство не особенно ловко разыгрывает этот политический маскарад, представляясь в виде двуликого Януса то русским, то союзным? Может быть, это вам неясно? Тогда я бы вам посоветовал — предложите (вы же имеете право делать предложения) русскому и союзному правительствам избрать разные резиденции, ведь знаете, как в Москве тесно, к тому же русское правительство может быть угнетено союзным и проч. В Петрограде масса свободных помещений, специально устроенных для столичных учреждений и проч., почему бы не перебраться туда одному из правительств, например, союзному. Будьте уверены, что в случае такого «соломонова решения вопроса о рассечении живого ребенка» Россия, как искренне любящая библейская мать, в ужасе отказалась бы совсем от своего правительства и своей автономии в пользу союзного правительства, и даже не будем настаивать на том, что то же сделали бы и другие «равноправные» члены союза. А ну, уважаемый Арчил, попробуйте хотя бы в дискуссионном порядке возбудить «этакий» вопрос в ближайшем номере «Зари Востока» (ведь эта газета однажды даже детски мило и наивно надулась, сделала губки бантиком за то, что в Москве кошку зовут кошкой, а «Пламя» и «Заря Востока» — провинциальными органами и Закавказье — Русской провинцией). Да, уважаемые граждане, грузинская государственность перестала фактически существовать с момента вступления русских войск. Формально она перестала существовать после образования единой Закреспублики, а уже окончательно ее похоронили в двойном гробу после образования С.С.С.Р., а ведь практика то их во сто крат хуже этих писаний. Не думаю, чтобы нашелся кто-нибудь такой наивный, у кого бы фраза конституции о том, что Грузия добровольно вошла в данную форму Закреспублики и в состав СССР, отказавшись абсолютно от государственных прерогатив, и что так же добровольно может выйти из этих «союзов», — не думаю, чтобы эта фраза могла бы вызвать что-нибудь, кроме улыбки. Ведь из истории уже никто не может вычеркнуть того факта, что не только Грузия в целом и большинстве, но даже коммунистическая Грузия так же «добровольно вступила в единую Закреспублику» и проч..

как напр. ваш покорный слуга и другие ваши бывшие товарищи добровольно вступили в Ярославский центродом и добровольно не можем выйти сначала из одиночек, а потом из большой общетюремной ограды. Вы знаете, что царская политика в Закавказье главным образом была направлена на то, чтобы взорвать, изодрать, искалечить бывшее грузинское царство как потенциального носителя сепаратизма, ибо западное Закавказье, т. е. Грузия, было наименее национально чересполосно. Чувствуете вы или нет во всем остальном продолжение старой политики?! Вот, например, одна мелочь — позвольте вас спросить, встречали ли вы где-нибудь черным по белому такой перечень: «Башкирская республика, Киргизская, Россия, Крымская республика, Карельская автон. респ. и проч», или когда-нибудь читали или нет: «Азербайджан, Карабах и Нахичевань», или раньше «Армения и республика Нахкрая» (когда он входил в Армению автономно). Но зато, с одной стороны, часто ли встречаете «Грузию» как понятие, включающее всю республику, чтобы не перечислялись «Грузия, Юго-Осетия, Аджария и Абхазия», а также и такой перечень: «Азербайджан, Абхазия, Грузия, Осетия, Армения и Аджаристан», и всегда с такой обидой для Нахкрая и Карабаха. Правда, вы скажете, что это мелочь, но и порицательная же систематичность и упрямство во всех этих мелочах; откуда эта выдержанность? Очень просто: всякая политика, желающая приостановить нормальный и здоровый процесс консолидации национальных республик в Закавказье, политика, желающая в «интернациональных» или шовинистических и империалистических целях создавать братство, равенство и общность в виде национального хаоса, такая политика в первую голову должна взрывать именно Грузию, как национальную республику, а остальное потом приложится легко, почти само собою, ибо Грузия действительно по всему своему положению (по составу населения, по силлогичности) является наиболее сильным ферментом в процессе формирования национально-территориальных республик Закавказья. Было бы, конечно, ошибочно думать, что уничтожение Грузии как государства и вообще национальных республик и автономий есть результат злой шовинистической воли нынешних правителей России. Во-первых, сама система централистической диктатуры (диктатуры уже не класса и даже не демократически организованной и самостоятельной классовой партии, а лишь ее верхов) исключает всякую подлинную федерацию, автономию, а тем более независимость. Во-вторых, Россия на ее нынешнем фронте культурно-экономического раз-

вития не может вести по существу более либеральной, национальной и колониальной политики. Англия, например, своей колоссальной экономической мощью и культурой доминирует в своих колониях и в некоторой степени их притягивает, как магнит; она легко может предоставить им радикальнейшие автономии, ибо не так уж нуждается в том, чтобы в национальном отношении кастрировать свои колонии, их не приходится насильно англоизировать. Россия же не может не окружать свои колонии невероятно высокой таможенной стеной протекционизма, она не может не подрывать благосостояния земледельческих Грузии, Армении, Азербайджана для того, чтобы кое-как поддерживать слабые остатки русской промышленности районов Москвы, Петрограда, Урала и пр. А на языке такой политики этот подрыв экономического благосостояния земледельческого Закавказья в интересах русской промышленности называется «ограждением Закавказья от константинопольских спекулянтов и европейских гнилых товаров». Англия не нуждается в том, чтобы насильственно навязывать свой язык, насильно колонизировать, экспортировать массами своих чиновников и насильно заполнять ими все поры управления в колониях. Россия же еще не в состоянии привязывать к себе колонии своей культурной и экономической мощью, а потому поневоле вынуждена держать их в ежовых рукавицах, колонизировать, русифицировать, тысячами вывозить туда своих чиновников, начиная от стрелочников и ремингтонисток и кончая высшими отцами. От этой основной линии она не может отказаться, ее проводили и проводят сейчас более или менее открыто, то ускоренными темпами, то зигзагами, то зарываясь сразу вперед и потом немного отступая, но неуклонно идя в одном определенном направлении. Может быть, вы скажете, что такой политики не может быть у коммунизма? Я с вами согласен, что то, что противоречит коммунизму, ныне оказались вынуждены проводить правители России, вышедшие из недр революции и коммунистов. Они этого не хотели — это дело другое, они много чего не хотели бы, а пришлось сделать, разве они желали восстановления нэповского-товарно-капиталистического строя? Конечно, не хотели, а пришлось. И лишь еще раз пришлось убедиться, что историю не перескочить, оказалось, что эта проклятая, упрямая старушка история всегда берет свое, если не мытьем, то катанием; когда совершают насилие над историей, она порой жестоко мстит, допуская радикальнейшие революции, но все-таки стоит на своем. Может разрешить товарно-капиталистический строй назвать

НЭПом, за насилие правящей партии отомстит тем, что превратит ее в привилегированную группу, в своеобразное сословие, вместо Закавказского наместничества придумает Закреспублику, вместо каторжной тюрьмы — политизолятор и т. д. Правда, за этими новыми названиями надо признать определенное, по крайней мере педагогическое, т. е. политико-воспитательное значение, как ни говорите, но назначаемые ныне центральным русским правительством — политбюро, ВК, РКП — правители губерний (секретари губкомов) все же ведь не губернаторы старого порядка; и съезды компартии, хотя в большинстве и состоят из этих же секретарей и других центральной властью назначенных партработников, нельзя все же отождествлять со съездами губернаторов под председательством министра внутренних дел. Правда и то, что в мусульманские губернии в прошлом никогда не мог бы быть назначен такой невежда и помпадур, который от мусульманского населения потребовал бы налог на свиней. А когда эти губернии превратились в «независимые» и «автономные» республики, то «свободно» избранные «мусульманские» наркомы попали впросак со свиньями. Но все-таки все эти новые названия, понятия, контуры имеют довольно важное воспитательное значение, хотя в значительной степени, а именно в существенной части, новая русская власть (при данном положении вещей единственно возможная национальная власть), не может не служить национально-государственным интересам России теми способами и методами, которые на нынешней стадии развития доступны этой стране, ее культуре, быту, экономике и проч. Этим и определяется, в частности, в общем и целом колониально-национальная политика Москвы. А политику эту довольно остроумно, но бесхитростно определил некий крестьянин бурят, обратившись с речью в ответ на поздравление с получением свобод для своей республики к представителям русской власти от имени бурятской республики: вот вся речь: «Республика наша, власть — ваша, спасибо, товарищи, земля наша, хлебушка — ваша, спасибо, товарищи, корова наша, молоко — ваше, спасибо, товарищи, курочка наша, яйца — ваши, спасибо, товарищи». Речь эта приведена в одном из февральских номеров «Известий» этого года. Автор в восторге от этой речи, полагая, что бурят хотел выразить безграничную преданность русской сов. власти, жертвуя для нее и хлебом, и молоком, и яйцами и вообще всем добром своим. Право, не знаю, что хотел бурят сказать, но то, что он сказал, это прямо эпическое, поистине классическое определение современной национальной политики Рос-

сии, да «республика наша, власть ваша». Этой общей русской национальной колониальной политикой и была определена судьба Грузии, хотя московское правительство желало в свое время, хотело быть сугубо осторожным с Грузией: грузины-коммунисты в своем большинстве, как я раньше говорил, наивно думали, что Россия только поможет установить советский строй. Я помню, приблизительно в сентябре 22-го года, за несколько месяцев до разгона грузинского Сов. Нар. Кома, ЦК Компартии и уничтожения и тени грузинской государственности, очень «удачно» полемизировал с каким-то колонизатором Ф. Махарадзе, а удача его полемики состояла в том, что он, разбив логически аргументы своего противника, привел их к «ужасному» логическому концу, а именно, к уничтожению независимости Грузии (дело касалось, насколько помню, судебных органов на железной дороге), и этот политический младенец (хотя далеко не с младенческой невинностью), хотя и с седой бородой, из ветеранов большевизма, торжествовал свою победу над оппонентом, не подозревая, что он никого не смутил и не ошеломил «ужасным выводом» статьи колонизатора, что через несколько недель... Грузия, потеряв свою государственную самостоятельность, не удостоится и того, чтобы наряду с Белоруссией быть «равноправным» членом союза, а будет лишь приравнена приблизительно к автономным республикам типа Чувашской, Калмыцкой и т. д. Теперь несколько слов о резолюции XII съезда по национальному вопросу. Признаться, никак не могу понять, каким образом кто-нибудь из вас может прийти в восторг и умиление от этих резолюций? Вы разве забыли, какие радикальнейшие резолюции и глубоко революционные планы существовали раньше у коммунистов? Они ведь в период своего революционного героизма действительно собирались удивить мир великой правдой, великой революцией: в области национальной провозгласили принцип полного национального самоопределения и независимости нации; вначале даже способствовали сепаратизму, потом, правда, начали сами прибирать к рукам самоопределившихся, но зато провозгласили (на словах) крестовый поход против колониаторского и русификаторского наследия царя и помещиков, благодаря политике которых целые народности вымирали от безземелья. Это констатировали коммунисты (дискуссия на X съезде). Собрались в поход, чтоб ликвидировать царское наследие: отобрать земли у царско-казацко-кулацких колониаторов и вернуть их законным хозяевам, спасая таким образом от вырождения башкир, киргизов, горцев и пр. О Грузии тогда не было речи, ибо

Грузия в те времена была независима (а в дни X съезда была только занята и считалась еще независимой). Все, что говорили по этому вопросу коммунисты, было сущей правдой. Царизм буквально уничтожил окраины инородцев своей колонизаторской политикой. В частности, он загнал горские народы в бесплодные скалы и ущелья, а их земли заселял своими колонистами. Часть населения Северного Кавказа — осетины — вытеснили из их страны и подкинули грузинскому народу, который и без того задыхался, а теперь даже вымирает от безземелья. Но старое русское право и этим не довольствовало по отношению к Грузии; лучшие земли, леса, уголья оно экспроприировало, объявив их казенными, т. е. русскими. У грузинского народа царь отнял решительно все окраины, т. е. наилучшие земли — юг, восток, север и даже запад, т. е. все черноморское побережье, начиная от Дуабзу (Туапсе) и кончая лиманом. Все это побережье, за исключением Потийских болот, царское право начало колонизировать кем угодно, начиная от русских и кончая эстонцами, выходцами из Турции, греками и др., словом колонизировали всеми, лишь бы выжить из этих мест настоящего хозяина этих земель, грузина, а также исконных членов и участников грузинской государственности, — братское грузинам племя абхазов, которых жесточайшим образом согнали с их земель и очагов и выбросили в Турцию, так же поступили с большими массами грузинского населения (по преимуществу магометанского исповедания) в южных провинциях Грузии. Но вот грянула великая антифеодальная и антицарская революция, и из ее недр в конце концов родилось диктаторское коммунистическое право, которое как в социальном, так и в национальном отношении решило все перестроить до основания самым радикальным и справедливейшим образом. Но, к сожалению, мы видим ныне, что и в национальной области великие проекты и справедливейшие порывы остались без осуществления, и нынешняя практика идет в общем по старой, проторенной колее. Коммунисты даже начали было проводить в жизнь свои проекты спасения вымирающих инородцев и возвращения им земель. Попытка в этом духе имела место на Северном Кавказе (кажется под руководством С. Орджоникидзе), когда у казаков-колонистов начали было отбирать земли и возвращать хозяевам — горцам. Но эта попытка вскоре была прекращена, и все осталось по-старому в земельно-колонизационном отношении, а в отношении многих инородцев — еще хуже. Например, башкиры, киргизы и некоторые другие азиатские инородцы наибо-

лее интенсивно стали вымирать именно во время революции, а землевладение русских кулаков-колонистов возросло за это время в этих районах до 35% и выше (см. протоколы X съезда компартии, речь Сафарова и др.). Что касается кошмарной земельной трагедии грузинского народа, то она не только не облегчена, но еще более отягощена. Грузинские коммунисты сильно надеялись и даже были убеждены в том, что русское коммунистическое пр-во исправит радикально все царские жестокости и обиды, причиняемые грузинскому народу, в частности, в земельном и в территориальном отношениях. Во всяком случае, вовсе не нужно было быть грузинским коммунистом, чтобы считать невероятной ту определенную антигрузинскую политику, которую начала проводить русская коммунистическая власть во всех отношениях. Разве мало было легковверных некоммунистов, которые после поражения грузинских войск и занятия Грузии русскими войсками, находили некоторое утешение в том, что, по крайней мере, ряд земельно-территориальных вопросов может получить справедливое разрешение. И в самом деле, в Грузии почти не было скептиков, которые считали бы, что теперь, по крайней мере, закавказский вопрос не будет разрешен приблизительно в рамках русско-грузинского московского договора 7-го мая 20 года. Не было также мрачных скептиков, которые могли допустить, что не только Закавказье с 33% азербайджанцев (даже без такой автономии, как Абхазская в Грузии), но что Азербайджану еще прирежут части Сигнахского и Тифлисского уездов, таких мрачных клеветников и скептиков нельзя было сыскать во всей Грузии. А вот, как видите, случилось нечто как будто невероятное: все эти земли отдали Азербайджану, не считая тех, что использовались ими как зимние и летние пастбища для овец. Но спешу предупредить, не ревнуйте московскую власть к азербайджанцам, ибо это сделано не по сердечному влечению, а по сухому расчету: если... половина Армении и около четверти Грузии переданы и закреплены за Турцией, то все это не потому, что Московское правительство одних азиатов любит больше, а других меньше, вовсе нет, тут, вероятно, счет и мера: в Закавказье сейчас политика слагается из московского и анкарского синтеза и содружества, ибо это наилучший путь для движения на восток с целью насаждения коммунизма и советизации, — говорят старый коммунист и молодой комсомолец; ну, ладно, пока пусть так, а там посмотрим, приговаривает совсем немолодой сменовеховец. В самом деле, разве удивительно, если в таких больших планах и в походах

придется немножко ущемить и даже пожертвовать двумя такими народами, как грузины и армяне. Разве уж так зазорно Чичерину играть с Исмет-пашой в четыре руки на Лозанской конференции, где рассматривался армянский вопрос в Турции. Трагический вопрос народа, который и раньше испытывал тяжелые муки, но на голову которого за последние 9 лет обрушились такие колоссальные несчастья, каких не испытывал ни один народ за эти годы. Нация, которая почти на одну треть перебита и вырезана, а другая треть которой превращена в беженцев, казалось бы имела основание рассчитывать, что против нее не пойдет коммунистическое правительство. Словно сами армяне в лице дашнаков виноваты перед коронованными и некоронованными абдул-гамидами. Не правда ли, приблизительно так же, как виноваты были кишиневские, белорусские и проч. евреи с их Бундом в России перед Крушеваном, Плеве, Николаем и проч. кровавыми погромщиками. Но сейчас не об этом. Вернемся к земельно-территориальным вопросам. Итак, что касается невероятностей территориальных вопросов по отношению к коммунистическим границам, это понятно, хотя с нашей узкой точки зрения, абсолютно непростительно. Наивны оказались и надежды кое-кого на то, что Россия по крайней мере в северо-западной Грузии восстановит историческую справедливость, что она вернет Грузии Сочинский район и пр. (вообще Джикетию и т. д.), ибо здесь она не связана по рукам восточно-мусульманской ориентацией; но и здесь произошли невероятные вещи: Москва уже не удовлетворилась границей, которую она сама подписала 7 мая и отобрала у Грузии полосу земли между Псоу и Мехадыром. Мало того, она даже грузино-деникинской границей оказалась недовольна и, перейдя через Мехадыр, провела границу под Гаграми, а весь Сухумский округ, под именем Абхазской республики (как и Юго-Осетию) превратила фактически в очаг и плацдарм русификации. Страшный колонизационный удав давно душил грузинский народ: душили его султаны и шахи, душил его пришедший на помощь белый царь... Почти нет уже шаха, не стало царя и султана, но их проклятое наследство все же смертельной удавкой обвивает и ныне шею грузинского народа, и его пока не спасла от этого и великая революция, он вымирает от бессилия, его обрекают на вымирание. Итак, вы видите, какие широкие и революционные обещания давались раньше инородцам по вопросам земельно-колонизационным, и к чему эти обещания свелись. А ведь на XII съезде об этих проклятых вопросах и не заикались: тут

уже были разговоры о более высоких и чисто духовных материях — языке и пр. Уже нет разговоров о национальном самоопределении не только всего народа, а даже пролетариата данной нации, более того, даже коммунистической партии того или иного народа; вопросы о независимости, самостоятельности и возвращения земель — все это уже давно похоронено, все независимые и самостоятельные нации уже превращены в окраины, народ-хозяин того или иного союзного, кроме русского, государства почему-то практикуется называть меньшинством, а теперь перед компартией стоял вопрос о том, дать или нет возможность говорить и жить на своем родном языке тем «независимым» народам, которые уже вернулись в свое «окраинно-инородческое положение», и пока на бумаге решили этот вопрос положительно¹. Да и сам-то вопрос, как наставительно и извинительно разъяснили на съезде, поставлен не потому, что считается элементарно-справедливым и целесообразным не только с точки зрения коммунизма, и даже просто либерализма и человечности, а потому, что, оказывается, весь мир тычет на русификаторскую и империалистическую политику России, а такая политика подрывает движение революции на Восток. На съезде разъяснили, что, мол, дело не во всех этих узбеках и азербайджанцах, а в том, какое это впечатление произведет на мусульманский Восток, поблажки нужны калмыкам потому, что понравится это их дядюшке Тибету, украинцев и белорусов надо слегка национализировать, это произведет соответствующее влияние на зарубежных их братьев панской Польши. Такова пока обстановка. Не правда ли, как мало тут революционного и справедливого и как мало оригинального даже в методах национальной политики в сравнении с дореволюционным временем, когда тоже хорошо знали цену калмыцким есаулам и подъясаулам на поприще тибетской политики?! Ведь в конце концов XII съезд оказал союзным республикам и народам ту милость, что язык этих народов у себя дома получает равноправие с русским языком, т. е. языком одного из революционных членов Советского Союза. Не правда ли, есть от чего прийти в умиление союзным республикам?! Что же касается Закавказья, то в тамошних политических и прочих условиях и при единой Закреспублике такое «равноправие языков», наверное, создает столпотворение вавилонское, и фак-

¹ И сам-то вопрос не считался бы вопросом, если бы, оказывается, Ленин не поставил его в промежутке между двумя периодами своей длительной болезни.

тически придется дозвлеть над всем и вся русскому языку в качестве честного и бескорыстного маклера, которого в одинаковой степени не понимают все кавказские народы. Один любопытный вопрос, СССР в своей проекции — мировое объединение, по крайней мере, пока европейское. Польша, Германия, Франция, Англия и проч. по замыслу СССР и по многим авторитетным заявлениям, начиная от официального органа Союза «Известия ВЦИКа» будут советизироваться и на основании конституции от 6 мая, — вступать в Союз. Надо полагать, что они (поляки, немцы, французы и проч.) тоже получат «равноправие» языков, т. е. будут иметь право на своем родном языке подавать бумажки. Все это будет, и так должно быть, но спрашивается — будут ли они в восторге от того, что их язык в Варшаве, в Берлине, в Париже, и проч. будет равноправен с русским. Впрочем извиняюсь, этот полемический вопрос ни к чему, ибо я забыл, что мы (а равно и другие союзники России) народ маленький, а известно ведь — что подобает Юпитеру, то не к лицу волу. Париж и Тифлис, французы и грузины, — правда, как это претенциозно и смешно с точки зрения даже революционного коммунизма! Да, кроме того, никогда не следует забывать, что над этой «кукурузной республикой» 100 с лишним лет развеялся стяг русского царя, наследником которого является русская революция. Вот это твердо помнит русский коммунист, а потому раскатисто и от души может хохотать, видя, как грузинская лягушка дуется, чтобы гдоходить на немецкого или французского вола. Давайте закончим эти критические замечания о большевизме, сформулировав их в нескольких словах. Мы спорили с русским большевизмом, во-первых, как соцдемократы и, во-вторых, как грузинские рабочие и крестьяне, освободившиеся через революцию и от национального гнета. И в первом и во втором случае, к величайшему сожалению и ущербу всего пролетариата и грузинского народа, наша основная оценка и наш прогноз оказались правильными. Вся история последних лет доказала неопровержимо, что русская революция не могла быть в данное время социалистической, что ее большевистская переоценка и соответствующая тактика принесет неисчислимые жертвы, что такая тактика может погубить революцию временно. Или же большевистской власти после жестоких уроков придется отступить на позицию антицарской или антидворянской революции в атмосфере гражданской войны и невероятного обнищания, вызванного и обостренного неудачным социалистическим опытом, и придется самой утвердить поли-

тическую реакцию. Что касается грузинского вопроса, мы утверждаем, что исторический смысл русской интервенции в Грузию состоял не в том, чтобы советизировать ее, а в том, чтобы восстановить единую, неделимую Россию под новым соусом, в том, чтобы уничтожить грузинскую государственность, аннексировать ее в той или иной форме. А теперь, можно ли спрашивать о том, оправдался или нет наш прогноз в национальном вопросе?! Я вас спрашиваю, в чем нам, меньшевикам, каяться, грузинским меньшевикам, в частности? Чем мы должны после всего прошлогоднего восторгаться в большевизме? Тем ли, что он четыре года упорствовал в своей ошибке и на пятом году в основном вопросе отступил на меньшевистскую позицию, то есть окончательно доконал пролетариат и революцию и этим своим отступлением к меньшевизму чувствительно облегчил положение остатков пролетариата и всего народа? Или мы оказались неправы в нашем грузинском деле, и русский большевизм сдержал свое слово и не уничтожил грузинскую государственность?! Или, может быть, исходить из того, что большевизм мог сделать хуже и в русской революции, и в грузинском вопросе, и, однако, не сделал? Возможно, хотя в грузинском вопросе он дошел до предела, которого уже не перейдет. Помню такой случай в Метехском замке: старика-крестьянина чека освободила после семимесячного заключения, не предъявив даже обвинения. Старик был в восторге от этой милости и благословлял освободивших его; на мое замечание, что за ним, наверное, есть какой-то грешок, а то почему же он приходит в такое умиление от действия чека, он ответил довольно оригинально: «Я, ей-богу, ни в чем не виноват, мне и обвинения никакого не предъявили, но ведь у нас теперь такая строгая власть, что может даже расстрелять без суда или же держать в тюрьме, сколько хочет; ведь могли же меня не освободить». Пожалуй, этот крестьянин по своему был прав, но нам с вами, Арчил, все-таки становиться на эту точку зрения что-то не к лицу. Ведь мы с вами не только не придем в восторг, но даже не оправдаем, например, того «благородного бандита», который ограбил людей в пути и не только не убил, но оставил на них нижнее белье и кое-что еще, а, может быть, даже вернул обратно часть награбленных денег на путевые расходы до дома. (Извините за некоторую резкость сравнения, но это только аналогия). Должен вам заявить, что я совершенно далек от мысли объяснить поступок вашей группы корыстью, личной трусостью (не говоря, конечно, об отдельных личностях) и т. п. Дело в том, что вот уже

скоро 10 лет, как мы вместе со всем народом живем и действуем в страшнейшем урагане с начала мировой войны, потом революции и, наконец, войны за национальное существование и национальную свободу. Естественно, что все и вся истощилось. В конце января 1921 г. для Грузии как будто окончательно прояснились горизонты, для нее открылось поприще свободного труда и творчества, но как раз спустя две недели на ее голову обрушилось новое несчастье под видом революционной интервенции. Ее 3 года занимают русские войска, а напоследок уже под видом союза ее аннексировали в большей или меньшей степени, но массы и их вожди, наверное, устали, особенно устали те группы, которые рассчитывали не столько на свои силы и на внутреннюю социалистическую революцию и национальную правду своего дела и своей борьбы, а на международное вмешательство в русско-грузинский спор со стороны европейских официальных сил. Эти слои начали чересчур поздно разочаровываться в своей наивности, в вере и надежде на буржуазные силы Европы. К тому же над Грузией все сильнее и сильнее начали проноситься ураганные огни оккупационного террора. Все эти февральские и последующие варфоломеевские дни и ночи, наконец, смелое и совершенно открытое уничтожение всяких республик, к тому же солидарное мировое предательство армян и Армении в Лозане — все это могло создать почву для того, чтобы данный эпизод борьбы грузинского народа не только за полную национальную свободу, но и за некоторую государственную автономию, уже был проигран. У некоторых отдельных групп создается, по видимому, именно такое настроение, отсюда и убеждение, что надо отступить, признать поражение, постараться сохранить хотя то малое, что еще осталось, например: в Грузии удерживать за 75% «державного» грузинского народа хотя бы те 55% мест, которые за ним еще остаются, и тому подобное. Помоему, вот такое настроение и является подоплекой выступления группы азербайджанских молл. групп мусаватистов и дашнаков, а также вашей и группы националистов. Причем, у первых трех групп наблюдается некоторая попытка более или менее с достоинством и честью отступить, и в этом отношении вашей группе и группе Пармена Готуа есть чему позавидовать первым группам. Недавно вы в статье «Рубикон перешли» писали, между прочим, как и Гоголадзе, что, мол, с целью физического спасения грузинского народа приходилось мириться с турками, с немцами и пр., почему же, мол, и теперь не заключить, хотя бы даже и скверный, но мир с целью

содействия развитию национальной культуры, экономики и т. д. Но тогда так и скажите! И говорите это до конца с честью и искренне. Вы думаете, что быть побежденным в наших условиях и признать это свое поражение в русско-грузинской борьбе так уж позорно? А то к чему же весь этот ваш меньшевистский шахсей-вахсей, все эти покаяния, самобичевания и самооплевывания? Кто же поверит вам, что вы после социально-политического поражения большевизма в России и после его национальных дел в Грузии не просто «назвали победившего медведя папашей», согласно грузинской поговорке, а вдруг уверовали в святость большевистского учения? Кто поверит Пармену Готуа в том, что он мечтал всю жизнь о советском разрешении национального вопроса в Грузии и, наконец, дождался, но не в полной мере, ибо во главе Советской Грузии были поставлены такие «шовинисты», как Махарадзе и Мдивани. Но вот когда от этих «шовинистов» освободили Грузию и ее «братски» вычеркнули даже из списка «союзных республик», вот тогда Пармен Готуа сказал искренне и по совести: «ныне отпускаешь раба твоего с миром, яко видели очи мои». Нет, господа, это очень нехорошо! Можно и необходимо иной раз приукрасить свои слова, поступки и прочее, но в основе всегда надо быть честным и искренним. Это абсолютно необходимо всем, где бы и какую позицию вы ни занимали. Взяли бы да и сказали просто, что дело проиграно, мы побеждены, подчиняемся и признаем честно существующее положение и по совести будем работать и сотрудничать на том попрнице, которое еще осталось за грузинским народом. Вот и все. Во всяком случае в такой оценке, постановке может крыться ошибка, но ничего недостойного в этом не было бы: тут проявилось бы больше уважения и к себе и к своему народу и даже к своему победившему противнику. В этом и заключается ошибка вашей скрытой оценки положения. Я здесь не берусь судить, ибо, во-первых, я чересчур давно отрезан от внешнего мира и не располагаю достаточными данными, а, во-вторых, если бы у меня даже и был определенный взгляд, я считал бы долгом прежде всего сообщить об этом своей партии, но не через чека ведь! (А другой возможности у меня нет!) Да, наконец, согласитесь, не могу же я с вами делиться своими партийно-политическими соображениями и предложениями, ибо вы уже потеряли на это право. Так же и я не могу претендовать на то, чтобы ваша группа информировала меня и моих товарищей о своих мнениях и намерениях. Вы говорите о целесообразности за-

ключения хотя бы тяжелого мира и проч., но разве таких попыток не было? И разве они не разбивались о характер противника, который может пойти на любой мир, если предполагает противника физически сильнее его, но не допускает никакого мира и соглашения, если только он в данную минуту сам физически сильнее своего противника, в особенности же, если этот противник из его ближайших родственников — из рабоче-социалистического племени. В виде слабой попытки для оправдания вашего поступка, быть может, можно сослаться на тот факт, что нынешняя власть в Грузии не только не дает противнику возможности с честью отступить, но даже не признает и не допускает капитуляции его с честью и достоинством. Эта сила и власть, которая является не только результатом революционного творчества, но в значительной степени является собой еще и продукт социального распада и разложения, да еще в атмосфере неорганического своего происхождения на месте, в обстановке оккупационной; власть эта по природе своей добывается от противника не его краха, катастрофы и капитуляции, а именно гнилостного разложения, не кристаллического крушения, а процесса гниения, запаха гноя, желчи, распада. Быть может, она не довольствовалась вашей простой и честной капитуляцией и потребовала от вас, чтобы вы все вместе и каждый в отдельности разложились, испустили некоторый букет, чтобы вы оплевали своих товарищей, их могилы, свое прошлое, свои святыни, даже те из них, которые были у нас общие с ними. Ведь всякая здоровая сила, все равно дружеская она или вражеская, всегда с отвращением отворачивается от этих картин «самогниения» и саморазложения. Надо полагать весь этот обряд с запахами и всю эту процедуру вам приписали как условие капитуляции (по нынешним временам бывает и так, что капитулирующим без условий предписывается условие, чтобы принять их капитуляцию). Но вы все-таки перестарались до крайности. Ну, скажите, к чему эти самобичевания и покаяния в грехах, наподобие средневековых кликуш, которые перед судом инквизиции каялись в том, что они действительно колдуньи и что по ночам ездят на волках и на метлах? Зачем было признавать, что вы посылали оружие в винных бочках (вот ведь какая подробность) никому иному как... Деникину? Правда, в нашей истории бывали случаи, когда завоеватели требовали от наших предков не только отречения от гяурской религии, но еще, чтобы они публично топтали наиболее чтимые иконы или публично плевали на площади в лицо и даже в рот наиболее уважаемым пастырям, но

этим людям по крайней мере приходилось выворачиваться наизнанку, чтобы как-нибудь умудриться самому себе плюнуть в душу. Ваша Тифлисская конференция (а также С. Орджоникидзе в своем выступлении на ней) предлагает ^{сидящим} в тюрьмах Грузии, а также нам, находящимся в русском плену, тюрьмах и на поселении, последовать вашему примеру, покаяться и получить свободу. Во-первых, вам, казалось бы, пора знать, что тюрьма весьма и весьма малоудобное и малодостойное место для переоценки своих взглядов и покаяний, имеющих своим последствием освобождение (не говоря уже о том, что для оценки деятельности советской власти весьма неудобный пункт наблюдения), и люди мало-мальски себя уважающие и сохранившие хоть остатки духовных сил, брезгливо отказывались всегда от подобного недостойного торга. Вы должны помнить, что в старые времена такие предложения могли делаться лишь наиболее смелыми циниками из охранителей устоев, да и те стыдливо опускали глаза и вели такой торг не публично. И смею вас уверить, что такие предложения одинаково позорны и недостойны, независимо от того, кто кому их делает — революционеры реакционерам или наоборот. Эта власть сейчас единственная наследница революции, других организованных революционных сил сейчас нет в России. Эта власть, несмотря на свою тиранию, все же по существу находится по сию сторону революции, свергать насильственно ее — это значит открывать путь дворянской реакции и реставрации, поневоле помогать ей. Все это давно сказано и теперь можно повторить, но при чем тут раскаяние в меньшевизме? Это, что касается России. А мы, грузинские социал-демократы, выходит, должны каяться в своих убеждениях и поступках потому только, что русские армии одержали победу над грузинскими, потому только, что все эти Панкратовы, полковники Морозовы, Закчека и Грузчека систематически одерживают победы над нами и над грузинским народом? Выходит, мы должны каяться потому, что решили защищать от русских армий свободу и независимость народа?! Может быть, вы думаете, Грузия проиграла с Россией не только войну 1921 г., но и последнюю политическую борьбу, национальную свободу в настоящее время?! Если бы это даже было так, то и в этом печальном поражении ничего позорного и унижительного не было бы ни для грузинского народа, ни для его политических партий. Оглядывая пройденный путь и все случившееся, наша партия с гордостью может сказать, что ее поведение во всем основном было правильным и достойным, и как партия рабо-

чих и крестьян Грузии она совершенно чиста. Для этого в нескольких словах напомним вам основы нашего поведения и позиций по отношению к советской власти как в России, так и в Грузии. Вы предлагаете нам подчиниться и примириться с советской властью. Но разве вы не знаете, что эта власть, в особенности в Грузии, не может мириться ни с какой организованной силой. Ведь 10-го апреля 21 года грузинская социал-демократия совершила над собой буквально героические усилия: выйдя из окопов после поражения в войне за национально-политическую свободу, за честь и достоинство революции и социализма, еще над незакрытыми могилами борцов она нашла в себе смелость и решимость подавить в себе естественные чувства святого негодования против тех, кто с огнем и мечом ворвались в Грузию через горы трупов грузинских рабочих и крестьян; в интересах родного трудового народа и единого мирового рабочего фронта она согласилась фактически принять советскую власть, стать лояльной к ней при условии исполнения тех минимальных обещаний, которые торжественно были заявлены новой властью и которые ни в малейшей степени не противоречат ни подлинному коммунизму, ни принципу советской власти. Вы, должно быть, помните это историческое обещание в оперном театре, помните, я думаю, что декларация была принята единодушно и только двое из говорящих внесли некоторый диссонанс (А. Рухадзе и С. Парниев), те, кто не сумел еще подавить в себе естественного чувства негодования. Итак, 10-го апреля наша партия сумела сделать колоссальный шаг к примирению и компромиссу. Но вы знаете и то, что этот примиренческий шаг произвел в лагере наших противников форменную панику, там именно хотели, чтобы мы ни в какой мере их не признавали, там, естественно, боялись политического мира и соглашения с такой сильной организацией, как наша, пожалуй, эта паника была естественна с их стороны, ибо за нами почти ничего не было, кроме иностранных армий, да к тому же наше соглашение с ними значительно могло ослабить размах колонизаторской русификаторской деятельности, а это ни в какой мере не входило в расчет тех сил, которые обладали Грузией. Вы знаете, что хотя социал-демократия не получила легальности, но она почти по всему фронту совершенно приостановила всякую работу почти на 8 месяцев, в ожидании и надежде, что военный удар пройдет у новой власти, пройдет и страх перед миром с социал-демократией. Социал-демократия дала указание всем своим товарищам и населению тесно сотрудничать с устано-

вившиеся властью на почве хозяйственной, культурной и пр. Вы, конечно, помните, что через месяц, как недавно выразился С. Орджоникидзе, меньшевистская амнистия кончилась. Нас начали бить насмерть. Мы ответили почти толстовским непровлением. Нас били, а мы даже не кричали, нас загоняли в подполье, мы туда шли, но и в подполье ничего не делали — не боролись. Так истязали нас в течение 7 месяцев, после чего частично пришлось укрыться от уничтожающего огня чекистской репрессии. Но основной линии своей тактики в общем мы все же не меняли, и в эти дни сказать, что в Грузии борьба происходила в своей основе за и против советской формы правления, это значит сказать низкую неправду. Конечно, этот политический подлог кое-кому на руку, но он все-таки давно разоблаченный подлог. Социал-демократия Грузии шла в этой области на колоссальный принципиальный компромисс. Об этом говорят декларация 10-го апреля, дальнейшие разъяснения ЦК нашей партии, ответное заявление заключенных из Кутаисской тюрьмы (июнь 21 г.) за подписью покойного тов. Пармена Чичинадзе и моею (оно в Чека), да, наконец, все наше поведение. Но именно этого нашего компромисса в политической области пуще огня боялась оккупация, ибо по существу ее линией был антигрузинский национализм, а не социалистическая интервенция. Грузинская социал-демократия считала целесообразным самоопределение народов, в том числе и грузинского, через демократию, через общее Учредительное собрание. Россия же самоопределилась раньше и отдельно. Но это обстоятельство не только не лишало Грузию права на самоопределение, но, наоборот, обязывало ее скорее самоопределиваться. Грузинский народ, и в первую голову рабочие и крестьяне, решил установить независимое политическое существование Грузии. Не правда ли, самая простая и естественная вещь?! Только революционно модернизованное русское великодержавие не могло простить этого «нахальства». Назвали нас за это уже не изменниками царя и отечества, а предателями русского пролетариата и его революции. А вы должны же помнить, каково было отношение грузинской социал-демократии к Октябрьскому перевороту. С первых дней советского переворота грузинскую социал-демократию единодушно объявили гибельной и объективно контрреволюционной, она считала своим долгом члена социалистического интернационала придерживаться политики борьбы против советской власти в России (ведь в своем большинстве и русские социал-демократы в общем и целом придерживались той же политики). Далее вы велико-

лепно знаете, что рабочие Грузии не только не враждовали с Советской Россией, но желали установить с нею дружеские отношения, для этой цели они избрали свою рабочую делегацию для установления связи с русским пролетариатом. Но ведь случилось невероятное, рабоче-крестьянское правительство отказалось впустить грузинскую рабочую делегацию, ссылаясь на нехватку квартир, но, конечно, это объяснялось не недостатком квартир в Москве, ибо и тогда и раньше находились в Москве квартиры для пашей, для графов Мирбахов и всяких прочих сенаторско-купеческих делегаций. Какие же такие особенные квартиры нужны были нашей рабочей делегации, она могла довольствоваться одним из таких сараев, каких должно было быть несколько во дворе особняка Мирбаха. Нет, просто обиженный на нахальное самоопределение русский великодержавник не впустил к себе рабочих так называемой республики Грузии, тем более, что новый хозяин земли русской, оказывается, собирался послать в Грузию делегацию из многих дивизий с танками и пр., а грузинскую рабочую делегацию почти в полном составе с почетным караулом пригласить в Россию и заставить ее гостить тут на неопределенно долгое время. Извиняюсь, что моя беседа с вами немного затянулась. Спешу ее закончить. Когда говорят, что ожесточенная борьба идет вокруг вопроса — конституция советская или демократическая — это ложь. Основа борьбы — национальный гнет или национальная свобода. Не знаю, есть ли какие-нибудь изменения в последнее время (думаю, что нет), но основное положение тактики грузинской социал-демократии, как члена рабочего социалистического интернационала, с одной стороны, и как партии рабочих и крестьян Грузии, с другой, в общем и целом сводилось к следующему: 1) Худо или хорошо (конечно, очень много худого и опасного), но в России в настоящее время единственно возможная революционная власть — это существующее ныне правительство, свергнуть ее силою — это значит играть на руку дворянской реставрации, опасность которой далеко еще не устранена. 2) Социалистический рабочий интернационал должен всемерно бороться за полное признание этой власти. 3) Коминтерн и русская коммунистическая власть своею тактикою наносят тяжелый вред мировому рабочему движению и этим помогают реакции. Но ниспровержение русского коммунистического правительства было бы еще более тяжелым ударом для мирового рабочего движения, оно послужило бы сигналом и началом неистовой антирабочей реакции во всем мире. 4) Тяжелым ударом для

социализма, революции и рабочего класса является, между прочим, тот факт, что русское коммунистическое правительство напало на демократическую Грузию (во главе которой стояли рабочие и крестьяне), завоевало и аннексировало ее. Надо решительно до конца исчерпать все средства, чтобы этот вопиющий вопрос разрешить миром, путем вмешательства обеих фракций мирового рабочего движения. 5) Такого разрешения требуют интересы всего рабочего движения независимо от фракционных течений, этого требовали интересы борьбы против колониальной империалистической политики мировой буржуазии, а потому грузинская социал-демократия уже 10-го апреля согласилась самоопределить Грузию хотя бы в советской форме. 6) Каким бы ни был исход этого повторного самоопределения через советы, раз с Россией установятся те или иные твердые и искренние отношения, то совершенно необходимо в той или иной форме искреннее и лояльное сотрудничество в Грузии грузинских социал-демократов и грузинской компартии. Это было бы большим моральным толчком вперед по пути единого рабочего движения, несмотря на малый масштаб Грузии, ибо Русское Коммунистическое правительство завоеванием Грузии вогнало сильную моральную занозу в организм мирового рабочего движения. Вот какова была в общих чертах наша «контрреволюционная» политика по отношению к советской власти в России, а также по нашему грузино-русскому вопросу. И особенно жестокое негодование и ненависть мы вызвали именно тем, что наша тактика не была и не могла быть контрреволюционной. Ведь факт, что Российская Компартия после жестокого провала опыта с социальной революцией еще ожесточеннее возненавидела именно социалистов, как живой укор и воплощение ее угрызений совести. Вдвойне возненавидели они, конечно, и нас. Они уже не могут не только желать, искать какого бы то ни было мира с социал-демократией, а наоборот, идейно побежденный коммунизм думает взять реванш тем, что физически уничтожит социалистов и даже название их партии всевозможными мерами, думая в своем ожесточенном помрачении, что этим можно убить и дело социализма и социал-демократии. Вот и вы, по-моему, не в состоянии оставаться дальше под коммунистическим огнем или, может быть, считая дело национального освобождения Грузии проигранным, решили отступить? Ни при каких условиях от вас должно быть, не приняв честной капитуляции, и вы вынуждены оказались по обыкновенному коммунистическому рецепту «саморазложиться», «самооплеветаться» и т. д. Что же

касается ваших постановлений о том, что вы распускаете грузинскую социал-демократию, этим вы уже себя ставите в смешное положение, это дело весьма несерьезное. Во-первых, еще неизвестно, сколько вас, даже если принять за основу публикуемые цифры, то ведь это далеко еще не только не вся партия, но и не особенно значительная ее часть. Во всяком случае, вашу подлинную численность мы узнаем по тому, сколько из бывших социал-демократов войдет в компартию. Правда, в случае надобности при следующей чистке всех вас как подозрительных, автоматически могут вычистить, причем, чтобы не было какого-либо подозрения в русско-грузинском пристрастии представителем чистилищной комиссии будет приглашен, как это бывает, азербайджанский «тюрок» Горбаченко, а в Азербайджан пошлют «грузина» коммуниста, например, Гинсбурга и пр. Словом, может быть в свое время вас и вычистят, но сейчас примут, конечно, в партию, и вот тогда и узнаем подлинную цифру подлинно «раскаявшихся», и тогда можно будет правильно судить о вашем праве распустить грузинскую социал-демократическую партию. Своим поступком вы, конечно, причинили вред грузинскому народу и грузинским рабочим, но в заключение пожелаю вам отныне по крайней мере не усердствовать в том, чтобы продолжать вредить ему; пожелаю вам достоинства, поскольку вы будете служить интересам подлинной рабоче-крестьянской Грузии и идее мирового торжества труда. Кое-какая, хотя и минимальная, возможность для этого у вас будет и на ваших новых позициях, ибо сказать, что лагерь, в который вы идете, есть одно сплошное зло и что оттуда можно только вредить — сказать это можно было бы только в раздраженной полемике.

Гр. Лордкипанидзе.

1923 г. 23 августа.

П. С. Извиняюсь, что пишу на языке, понятном для немногих из вас, но иначе сомнительно, чтобы письмо это дошло до вас, да к тому же в инициативной группе, кажется, у вас все знают русский язык, а дальше этой группы оно, наверно, не пойдет.

8 января 1924 г. г. Тифлис.

Нач. Секо

Зак. Чека

Подписи не разборчивы.



Вадим БАЕВСКИЙ

„...МНЕ ГРУЗИИ НЕ
ОБОЙТИ“

(К 100-летию со дня рождения Б. Пастернака)

Зимой 1929—1930 года Борис Пастернак познакомился с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе. О дальнейшем Пастернак рассказал так: «Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе» (Избранное в двух томах, т. 2, М., 1985, с. 270). Здесь Пастернак жил летом и осенью 1931 года, написал часть стихотворений, составивших «Второе рождение». По возвращении поэта в Москву состоялся большой его вечер. Он читал свои новые стихи, потом разгорелась дискуссия. Яшвили убедительно и прозорливо говорил об общественном значении поэзии Пастернака, защищал его от нападков (стенограмма его выступления опубликована мною в «Литературной Грузии» № 7 за 1988 год). А 30 июля 1932 года Пастернак писал Яшвили: «Что бы я ни задумал теперь, мне Грузии не обойти в ближайшей работе» (Избранное, т. 2, с. 457).

Через месяц, в августе 1932 года, в Москве, в издательстве «Федерация» тиражом 5200 экземпляров вышла книга стихов Пастернака «Второе рождение». У Пастернака есть недооцененные книги. Такова его вторая книга «Поверх барьеров», вышедшая в декабре 1916 года, в разгар войны, перед

самой революцией. Таково «Второе рождение». Отзывы были противоречивыми. Противоположными были не только оценки разных людей. Бывало, что крайние, причем полярные мнения высказывались одним и тем же читателем. Вот пример. Осип Мандельштам с осуждением говорит о «Втором рождении», обидно и несправедливо называет его «советское барокко». А через несколько дней с восторгом читает «Лето» из этой книги и победоносно восклицает: «Гениальные стихи!» (Э. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986, с. 52, 55).

Сам Пастернак, по-видимому, был книгой доволен: в 1934 году она была переиздана, в 1933 и 1935-36 годах ею он завершил свои большие однотомники. Иначе говоря, с 1932 по 1936 год «Второе рождение» выходило ежегодно! Случай единственный для Пастернака. За последние десятилетия «Второму рождению» уделено немало внимания в многочисленных монографиях, статьях, однако важные вопросы, о которых у нас пойдет речь, там не затронуты.

Книгу открывает лирическая поэма «Волны». Во втором издании она посвящена Н. И. Бухарину. Исправим одно недоразумение. В печати появилось утверждение, что строки «Волн»

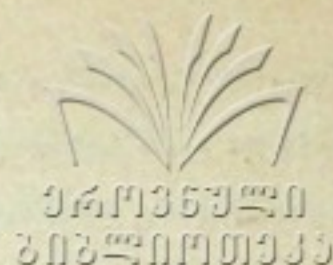
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас

относятся к Бухарину (Советская культура, 1988, 6 октября, с. 6). Не стоит искать в стихах Пастернака преувеличенных комплиментов Бухарину. Связующие нити лежат глубже. А приведенные стихи были и в первом издании, Бухарину не посвященном, и относятся они, как следует из контекста, к величественному лесу, покрывающему Кавказские горы:

В горах заваривалась каша.
За исполином исполин,
Один другого злей и краше,
Спирали выход из долин.

Зовите это, как хотите,
Но все кругом одевший лес
Бежал, как повести развитье,
И сознавал свой интерес.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.



(Второе рождение. М., 1934, с. 12)

Другое дело, что дерево издавна символизирует человека, лес — целый народ, для Пастернака восхищение могучим лесом связано с восторженным познанием народа Грузии.

Второе издание книги вышло в самом конце года, вскоре после Первого всесоюзного съезда советских писателей. На нем с докладом о поэзии выступил Бухарин. Его доклад «Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР» был не только опубликован в стенограмме съезда, но и сразу же вышел отдельной брошюрой. Как центральное явление советской поэзии он рассматривал творчество Пастернака. Стремясь быть объективным, подчеркивая противоречия этого творчества, Бухарин говорит о нем с нескрываемым восхищением, больше чем о ком-либо другом. Этот раздел доклада он кончил следующими словами: «Таков Борис Пастернак, один из замечательнейших мастеров стиха в наше время, нанизавший на нити своего творчества не только целую вереницу лирических жемчужин, но и давший ряд глубокой искренности революционных вещей» (Стенограмма, с. 495).

Вокруг доклада, вокруг оценки Бухариным Пастернака развернулись ожесточенные споры. Непримиимо выступил Алексей Сурков. Поэтому особенно дорога была поддержка ряда ораторов. Т. Табидзе сказал: «Имя признанного поэта революции остается за Маяковским, так же как имя непогрешимого мастера — за Борисом Пастернаком... Перевод «Змеееда», поэмы Важа Пшавела, Борисом Пастернаком расценивается в Грузии как поэтический подвиг... Мы не можем забыть, что первое замечательное стихотворение Бориса Пастернака «Демон» и последний цикл его стихов «Волны», «Клятва в тумане» и баллады Тихонова сделаны на грузинском материале» (с. 516—517). Сандро Эули заявил: «Доклад г. Бухарина зовет на новую, высшую ступень, и я, представляя мнение грузинской делегации, выражаю полную солидарность с этим докладом». Стенограмма свидетельствует, что эти слова были встречены аплодисментами съезда (с. 564).

В своем заключительном слове, отражая нападки Суркова, Бухарин вернулся к своему пониманию Пастернака и от-

метил: «Я крайне рад, что как раз та национальная делегация, которая сделала самый интересный и содержательный доклад, солидаризировалась с моими выводами» (с. 357).

Доклад Бухарина и посвящение ему «Волн» — свидетельства значительной духовной близости его и Пастернака в первой половине 30-х годов. Есть и другие свидетельства. Эта близость отразилась в проблематике «Второго рождения».

Во «Втором рождении» Пастернак переводит весь комплекс вопросов на язык культурных понятий и пространственных отношений, сгруппированных вокруг главной оси «Восток—Запад». Мир «Второго рождения» — это трудный, противоречивый мир, смысл противопоставления «Восток—Запад» раскрывается лишь постепенно.

Москва здесь — старообразный город, мещанский, поэзии враждебный:

Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.

Это «Смерть поэта». О самоубийстве Маяковского сказано:

Ты спал, постлав постель на сплетне...

Москва во «Втором рождении» — город с устойчивым колоритом смерти:

Мертвецкая мгла,
И с тумбами вровень
В канавах — тела
Утопленниц-кровель.

Оконницы служб
И охра покоев —
В покойницкой луж
И лужи—рекою.

Одно из значительных стихотворений начинается так:

Упрек не успел потускнеть —
С рассвета опять потрясенье:
Вослед за содеянным смерть
Той ночью вошла в твои сени.

Скончался большой музыкант,
Твой идол и родич, и этой
Утратой открылся закат
Уюта и авторитета.

Подробно описаны похороны:

Дорога со всей прямою
Направилась на крематорий.

Одновременно Москва — это родина, это город любви, город поэзии и музыки. Но московская любовь во «Втором рождении» чревата сложностями быта:

Зимой мы расширим жилплощадь,
Я комнату брата займу.

В ней шум уплотнителей глуше...

Любовь здесь чревата драмой ревности, чувством вины, поисками оправдания:

Мы не жизнь, не душевный союз,—
Обоюдный обман обрубаем.

Украина представлена в книге Киевом и дачным местом под Киевом Ирпенем. В стихи вошли красоты города, стоящего над Днепром, и украинской природы, но общий колорит тревожен. А отдых в Ирпене, говорится в «Лете», — это пир во время чумы.

Несколько раз, как бы мимоходом, в сравнениях, возникает западное зарубежье — и постоянно в траурном, тревожном колорите. В связи с самоубийством Маяковского вспоминается Этна, с семейным разрывом — Альпы и баварские озера, со смертью Шопена — Париж. «Дорога на крематорий» на первый взгляд неожиданно сравнивается с поражением под Варшавой во время советско-польской войны 1920 года:

Оттуда дул ветер, и снег.
Как на рубежах у Варшавы,
Садился на брови и мех
Снежинками смежной державы.



Каждое из этих сопоставлений представляется предельно субъективным, но все вместе они выстраиваются в последовательный ряд. Мир Запада во «Втором рождении» — это тревожный, неуютный, смертоносный мир.

Что противостоит ему? Кавказ, Грузия,

Надо сказать, что восприятие поэтом Грузии далеко от поверхностной легкомысленной восторженности. Как ни любовно воспринимает Грузию поэт, он знает и ее беды, сопереживает им, обнажает противоречия.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд и долг и воздух.
Чтоб вышел человек, как здесь.

Во «Втором рождении» есть стихи о Грузии просто трагические, полные предчувствий грядущей (всего через пять лет) катастрофы, гибели грузинских друзей Пастернака. Они заставляют предположить, что беседы Табидзе, Яшвили и Пастернака касались предметов отнюдь не идиллических.

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагве, сдавленной горами.
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья.

Однако общее восприятие поэтом Грузии восторженно и оптимистично. Она лежит перед его глазами на арене всемирной истории. Кавказ приобретает вселенский масштаб. Исполнинские вершины вызывают в воображении образ Прометея. Грузия для поэта — образ социализма, который создается общим порывом, а не ценой человеческих страданий и жизнью. Образец такой гармонии встречает поэта на пороге Грузии. Это — Кавказский хребет.

Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь — близь? — Средь тесноты,
Во имя жизни, где сошлись мы, —
Переправляй, но только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет,
Как выход в свет и выход к морю,
И выход в Грузию из Млет.

Грузия, приравненная к истинному социализму, — это страна, где естественно развязываются любовные, семейные, бытовые узлы (мы знаем, что так и оказалось в жизни поэта),

Где дышат рядом эти обе,
А крючья страсти не скрипят...

Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,
Но значу только то, что трачу,
А трачу все, что знаю я.

По свидетельству Симона Чиковани, Пастернак не раз говорил, «что Грузия оказала на него такое же сильное воздействие, как Революция, что она стала для него новым открытием мира, началом новой жизни» (Литературная Грузия, 1968, № 9, с. 93). Образ истинной революции, истинного социализма встал перед Пастернаком именно в Грузии. Его третируют как поэта аполитичного, далекого от злобы дня. Тот же Бухарин в докладе на съезде писателей называл его поэтом, наиболее удаленным от шума битв, от страстей борьбы (подчеркнув при этом, что он безусловно приемлет революцию). Сегодня нам видно, что Пастернак со всем своим бурным поэтическим темпераментом всегда последовательно вы-

ражал свое отношение к своему времени, в том числе и к политическому его облику. Но делал он это не зарифмованными лозунгами, а средствами высокой лирики. «Второе рождение» он завершает стихотворением, которое окончательно расставляет по местам все нравственные и политические акценты. Сейчас много пишут о катастрофических последствиях, к которым привела насильственная сплошная коллективизация на рубеже 20—30-х годов, о гибели миллионов крестьян, о голоде и разорении деревень. В заключительном стихотворении своей книги Пастернак впервые в советской поэзии сочувственно показывает трагедию народа, прямо говорит о том, что для него неприемлемо:

Струитесь, черные ручьи,
Родимые, струитесь.
Примите в заводи свои
Околицы строительства.
.
.
.
В краях заката стоял лед.
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев.

В «Волнах», открывающих книгу, поэт связывает воедино Грузию и социалистический идеал. Здесь выражена мечта, чтобы генеральный план строительства был столь же величествен, как Кавказский хребет. А в стихотворении «Весеннее порою льда...», которым книга завершается, показана горькая реальность, которая разворачивается «в краях заката», т. е. на Западе. Естественным выводом оказываются следующие стихи:

Прощальных слез не осуша
И плавав вечер целый,
Уходит с запада душа,
Ей нечего там делать.

«Второе рождение» — это художественное исследование бытия самого поэта, его страны, его народа с точки зрения проблемы «Восток — Запад». Вместе с осуждением народного разорения наступает отказ от европоцентризма. Опорой в этом мире остается «даль социализма» и Грузия. Душа уходит с запада, чтобы остаться в Грузии.



ГЕРОЙ НАШЕГО БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Все осталось внизу для него... Там, в зимнем промозглом городишке: разбитая машина, ресторанный нелюдь, девочки с их жалким промыслом, лживые дружбы и тосты, тревожная, скучная человеческая суета — его, Отара Дзидзигури, недавняя жизнь.

А, может, полужизнь, жизнь около, с которой он не знает теперь что делать?

Калитка захлопнулась и вышвырнула вон. В никуда.

Нет, почему же! Наверх, в ясность — в горы, где встретится детская добрая душа, не ведающая ни фальши, ни горечи... И он скажет себе напоследок: «как хорошо, как холодно, как чисто».

Писатель Отар Дзидзигури, странно преуспевший в порочные годы...

Действительно, странно — не омрачив чела своего, в неприкосновенности и душу сохранив. Бывший имеретинский пастух, виноградная лоза, наспех и чуть ли не случайно всаженная посередь тбилисских камней: «Вы любите Шопена?» — «Если б еще знать, кто это...»

Не правда ли, какая прелесть! А ведь и прельстилась столь же преуспевшая пианистка, эксцентричная и нелепая будущая жена, воплотившая в себе его муку. Толкнувшая к последнему, что осталось — побегу.

Он всегда думал, как быть с собой и художеством. Разговор не сводился — будь он заострен хоть только на личном — к сиюминутному: как? Но — что встанет за этим?

Разговор можно разве что предположить, он вне текста. Лишь конечные выводы, для себя. Заметки «на полях».

Собственно, это и есть заметки, переросшие в романное повествование, где звучит предчувствие беды. Возможно, этим предчувствием, его остротой и воссоздана Жизнь.

Александр Эбаноидзе. «Вниз и вверх», роман. «ДН» №№9, 10. 1989 г.

Она вся из света и тьмы. Ее облик то со скорбной гримасой, то безмятежно чист, то неуловим в необщем выражении.

Исповедь писателя Отара Дзидзигури — как бы попеременное прикосновение к обжигающим полюсам. Свидетельства случайных присутствий. Пусть и равнодушные... Где ряд взаимоисключающих моментов: плотское в романтической приподнятости (юношеский роман с горькой всезнающей женщиной), патриархальная чистота крестьянского быта и ужасы городского дна! Но он не соучастник ни действий против зла (как «диссидент» Вадим или друг детства трагически непримиримый Джумбер Мхеидзе), ни носитель самого зла. На уровне, так сказать, любопытствующей, неполной сопричастности. То самое «около».

Жизнь словно обтекала героя.

Воистину — поведение как раз по нашим временам! В стороне и от принятых тенденций, и от социальных лукавств...

Крона еще полна листвы, в ней еще «ветра шум», но не что ушло. Чувство высоты?

Или проще: выщипан жизненный материал — как луговая трава конем на привязи.

Метафора хороша, но коня можно и отвязать... Эту тему автор берет в осторожные скобки (что-то вроде сноски — мысли про себя.) Поплутав во тьме скепсиса и сомнений всякий раз, конечно же, они возвращаются на поверхность общих суждений...

Так, может, сызнова вниз?

Великолепный и невероятный низ, ярко и оглушительно шумный, все наизнанку — совесть и честь, хохотом встречают саму непорочность... Низ на желанном пути в верх! Вот он, расчудесный городишко, населенный веселыми монстрами. О, какими обходительными, даже заискивающими. Готовыми растелить ковры под твоими босыми ногами... Зловещие шутки льстивых шустряков!

Конь вырвал колышек, к которому был привязан, и попасся на чужом райском лугу...

Да, роман завержен — бегством из лукавого рая, накрытого тучами.

Записки же писателя Отара Дзидзигури, разбитого параличом, вяло выкликавшего из милой, туманной дали духи полей и гор, образы прошлого, вдруг вскрикнули и завопили от боли. И ей, душевной боли, кажется, нет исхода...

Гелий КОВАЛЕВИЧ



Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анакда БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор И. Зурабашвили
Корректор Т. Бадрнашвили

Сдано в набор 1.08.90 г. Подписано к печати 25.08.90 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 7.300. Заказ 1246. Цена 65 коп.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства ЦК КП Грузии, по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Ордена Трудового Красного Знамени типография Издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Костава, 14.

693 / 129
65 კ.

ИНДЕКС 76117



ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი
„ლიტერატურნაიკა ვრუსია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან



«Литературная Грузия», 1990, № 8, 1—224